*Наоми Френкель*

# Дом Леви

## {Саул и Иоанна}

# Наоми Френкель
# Дом Леви
## Серия «Саул и Иоанна», книга 1

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664465*
*Наоми Френкель. Дом Леви: КНИГА-СЭФЕР; Тель-Авив – Москва; 2011*
*ISBN 978-965-7288-49-8*
*Оригинал: NaomiFrankel, “Family units Saul and Yohana”*
*Перевод:*
*Эфраим Баух*

## Аннотация

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.

Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.

Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма. Даже любовные переживания героев описаны сдержанно и уравновешенно, с тонким чувством меры. Последовательно и

глубоко исследуется медленное втягивание немецкого народа в плен сатанинского очарования Гитлера и нацизма.

# Содержание

О Наоми Френкель, классике ивритской литературы 5
Глава первая 11
Глава вторая 25
Глава третья 53
Глава четвертая 73
Глава пятая 108
Глава шестая 162
Конец ознакомительного фрагмента. 185

# Наоми Френкель
# Дом Леви
# *первый роман трилогии*
# Саул и Иоанна
# перевод с иврита
# Эфраима Бауха

## О Наоми Френкель, классике ивритской литературы

Наоми Френкель (1920-2009) родилась в Германии, в ассимилированной еврейской семье, предки которой были изгнаны из Испании. В 1934 году, с приходом нацистов к власти, семья эмигрировала в Палестину.

Наоми воспитывалась в иерусалимском учебном центре-усадьбе Рахели Янаит Бен-Цви, жены второго президента Израиля. Оттуда, вместе с группой молодежи, влилась в кибуц Бейт-Альфа в Изреельской долине, где жила и трудилась до 1982 года. Затем переехала в поселение Кирьят-Арба, рядом с Хевроном.

Известность пришла к ней с публикацией первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна». Роман «Дом Леви» вышел в 1956 году и удостоился премии Рупина. Второй части – «Смерть отца», вышедшей в 1962 году, присуждена была премия Усышкина, а третьей части «Сыновья» в 1967 году – премия главы правительства.

Наоми была редактором «Дневника» знаменитого героя войны за Независимость Меира Хар-Циона, которого Моше Даян назвал самым великим еврейским солдатом с древних времен. Ее комментарии к «Дневнику» вызвали большой общественный интерес.

В 1969 году она мобилизовалась в подразделение морских коммандос и прослужила в военно-морских силах Израиля семь лет. В эти же годы вышли в свет ее книги «Ваш дядя и друг Соломон» (1972), «Юноша вырос на берегах Аси» (1976), «Рахель и зрачок» (для детей, 1975).

После окончания войны Судного дня она записала и отредактировала краткий отчет обсуждения итогов войны в штабе военно-морских сил (800 страниц), который по сегодняшний день не разрешен к публикации.

После выхода в свет продолжения романа «Ваш дядя и друг Соломон» – романа «Дикий цветок», Наоми переехала в поселение Кирьят-Арба, где написала два исторических романа – «Баркаи» (1999) и «Мул» (2003).

За большой вклад в ивритскую литературу Наоми Френкель удостоена престижной премии Ньюмена за 2005 год.

Перевод ее дилогии «Ваш дядя и друг Соломон» и «Дикий цветок» на русский язык является значительным событием в культурной жизни нашей страны.

Трилогия «Саул и Иоанна» вошла в классику современной ивритской литературы. Первый роман трилогии «Дом Леви» сразу же после выхода в свет стал бестселлером.

Романы повествуют о Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы.

Роман вызвал бурную реакцию в литературной среде совсем еще молодого государства Израиль. Известнейший израильский критик Барух Курцвайль, отличающийся строгостью, можно сказать, даже жесткостью в подходе к литературе, высоко оценил творчество Наоми Френкель. В статье «Еврейство Германии глазами Наоми Френкель», опубликованной в газете «Аарец» в 1962 году, он писал:

«Мы имеем дело с истинным природным талантом… заполняющим еще не освоенные «эпические пространства». Перед нами – опыт прорыва за узкие пределы израильской прозы, пока еще единственный в нашей молодой литературе. В тематическом плане здесь проступает огромная и глубокая новизна. Впервые на языке иврит показано изнутри еврейство Западной Европы».

Следует отметить, что в стиле автора нет ничего лишнего, никакой перегруженности. В этом стиле превалирует слия-

ние реализма и лиризма. Даже романтические чувства, возникшие между Филиппом и Беллой, еврейкой Эдит и нацистом Эмилем Рифке, описаны сдержанно и уравновешенно, с тонким чувством меры. Последовательно и глубоко исследуется медленное втягивание немецкого народа в плен сатанинского очарования Гитлера и нацизма.

Трилогия отличается глубоким проникновением в изгибы и закоулки душ героев – главных и второстепенных – в государственные, общественные, экономические процессы, изображенные в соответствии с духом времени. Создавая широкое эпическое полотно, автор поднимается над автобиографическими деталями собственного детства девочки, родившейся в ассимилированной еврейской буржуазной семье.

В трилогии прослеживается соответствие героев повествования их прототипам в реальности. Отец Иоанны Артур Френкель, офицер германской армии, был отравлен газом во время боев Первой мировой войны, что и свело его безвременно в могилу. И любимая его жена тоже ушла в 39 лет из жизни, став жертвой эпидемии, охватившей послевоенную Европу. История «вороньей принцессы» также взята из жизни. Многие эпизоды повествования реальны, как, например, воодушевление, охватившее Иоанну от ханукального представления в клубе сионистского Движдения. После этого Иоанна не захотела выступать в роли ангела Иисуса на празднике Рождества в школе.

С усилением нацистской партии семья оказалась в тяжелом положении. И старший брат Иоанны Гейнц, в отличие от всех остальных членов семьи видящий, к чему все движется, пытаясь спасти семейное дело – металлургическую фабрику – хотел ввести в это дело приближенного к нацистам адвоката Функе, сделав его компаньоном и тем самым сняв название фирмы «Леви и сын». На этот раз положение спас дед Яков Леви.

И хотя первый роман трилогии заканчивается на оптимистической ноте, читатели знают, что за 1931 годом наступил 32, а за ним – 33, год начала Катастрофы.

Перипетиям Дома Леви в эти последние годы старого мира посвящены следующие два романа эпопеи – «Смерть отца» и «Сыновья».

Мы видим, что и спустя годы книги Наоми Френкель привлекают читателя не только увлекательным сюжетом, живыми персонажами и фотографическим описанием эпохи. Приходится констатировать, что поднятые ею проблемы до сих пор стоят перед евреями Израиля и Диаспоры.

Поэтому книги писательницы всегда находят отклик в сердцах читателей.

Но это не значит, что романы Наоми Френкель замкнуты в национальной проблематике.

Как каждый большой писатель, она поднимает общечеловеческие проблемы.

Теперь и русскоязычный читатель сможет оценить ее

творчество.

*Доктор Ципора Кохави-Рейни*
*биограф писательницы Наоми Френкель*

*Посвящаю трилогию «Саул и Иоанна» вознесшейся в небо душе Израиля Розенцвайга, благословенной памяти, чистейшей душе в моей жизни, любовь моя к которой вечна*

# Глава первая

Скамья стоит между несколькими липами, отстаивающими свое существование в самом центре огромного города. Они почернели от уличной пыли, кора их стволов покрыта вырезанными в ней руками влюбленных сердечками, пронзенными стрелой Амура. Скамья стоит на узкой полоске зеленой травы, и весной там прорастают сезонные растения – майские цветы, главным образом, фиалки.

Липы, скамья и мелкая травка вокруг них это центр бедного квартала. Прохожие, не живущие в в нем, и не предполагают, что следует как-то по особому отнестись к зеленой скамейке. В любое время вокруг нее сигналят автомобили, скрежещут по рельсам трамваи, пьяницы прикладываются к бутылке, рассевшись на скамейке. Жители квартала суетятся вокруг нее, кто-то сидит на ней, кто-то стоит около, и в течение дня она всегда занята.

Утром ее занимают безработные, каких много в этом квартале. Сидят: куда им идти? Они переполнены жаждой деятельности, глаза бегают, провожая каждого идущего, у кого, очевидно, есть какая-то цель, – и так в течение всего дня. В полдень скамейку занимают дети, возвращающиеся из школы, обычно парами, болтают о том, о сем, смеются и дерутся. Здесь они задерживаются перед тем, как вернуться в свои серые от нищеты дома. Но истинная жизнь на скамье

начинается только после полудня: тогда ее занимают женщины. Они приносят с собой запахи кухни, селедки, лука, свиного жира и картошки. Они приходят, усаживаются, достают вязанье, и работа начинается. Руки их, почерневшие от чистки картофеля, соревнуются в скорости движения с их устами. Тут собираются женщины со всего квартала, все-то они знают, обо всем судачат, всех судят, всему завидуют. По субботам сюда приходят и евреи из соседского квартала. Сидят на скамье, перебирают прошлое, когда были богатыми, мечтают о будущем, когда снова разбогатеют.

Да и ночью не дают скамье отдыха. Когда город вспыхивает огнями, скамью окутывает таинственная темень, влекущая к ней влюбленные пары. Сидят они на этих зеленых стертых досках или, за неимением места, прижимаются к липам. В темноте каждая пара как бы обосабливается, и скамья прислушивается к любовному шепоту и запретным столь сладким стонам.

Когда же расходятся и эти, остается всегда один, бездомный, свернувшийся в ветхом своем пальто, нашедший себе убежище на ночь на этой скамье.

Итак, от утра до утра, скамья занята, являя собой, как бы, душу квартала.

Напротив скамьи – переулок в два ряда ветхих домов. Стекла их окон подобны глазам, потускневшим от плача, и обитатели их также серы, как их стены. Лик переулка всегда зол. Самые дерзкие лучи солнца, пытаются иногда про-

рваться в переулок, но тут же проглатываются уличной пылью. С наступлением сумерек зажигаются в городе тысячи ярких уличных фонарей. Газовые фонари в переулке роняют тусклый свет. Переулок этот подобен пасынку в огромном городе.

Утром заря восходит медленно-медленно. Свет фонарей бледнеет и исчезает. Полусумрак еще скрывает дома переулка, но огромный город уже полон шума, движенья, многолюдья. Группа за группой выходят рабочие из дверей своих домов, у каждого сверток подмышкой, лица припухшие, и глаза еще полны сна. Они присоединяются к длинному потоку, извивающемуся вдоль улиц, будят бездомного бродягу на скамье. Он тут же надевает свое ветхое пальто и присоединяется к потоку, как некое его звено, явно призрачное и лишнее. Быстрей! Быстрей! Город проглатывает толпы рабочих.

В этот час переулок все еще дремлет. Только Отто уже открыл свой киоск на углу улицы. Он хозяин этого известного в квартале киоска, продает жвачку, сигареты, книжечки про сыщиков и коммунистические газеты. Им переулок открывается и им завершает свой день. Отто знает всех, кто выходит отсюда и кто приходит. Резвый мужичок-с-ноготок в кепке и с платком в руке, чтобы стирать пыль, он в свободную минуту между двумя разговорами или дискуссиями вертится, как юла, вокруг киоска, вытирает каждую книжку, каждую банку и даже газету. Эта работа не прекращается ввиду того,

что переулок все время вздымает клубы пыли. Забот у Отто полон рот, вот он говорит, вот что-то мастерит, стирает, приклеивает, отгоняет малыша, вступает с кем-то в спор.

У Отто две постоянные темы, о которых он не прекращает говорить: великая любовь и великое разочарование. Великая любовь – к партии, и великое разочарование – в жене. Эти две темы не оставляют его в покое. С двумя вещами Отто никогда не расстается. С кепкой, которую он все время передвигает справа налево, и наоборот, и с белой охотничьей собакой Миной.

О-о! – говорит Отто и подмигивает Мине, которая всегда пребывает в окружении множества поклонников, не перестающих лаять и кусать друг друга из ревности к ней, – вот, псина дурная. Как сумела так втереться к людям! Сучка, как и все девки переулка.

В часу седьмом утра начинают звонить колокола, и тут переулок просыпается. Фриц, сын трактирщика, появляется со своей ватагой. Четырнадцатилетние подростки только что закончили учебу, а работы нет. Нет такой дыры и такого угла, где бы они не толпились, нет такого ругательства, которое бы не слетало с их губ, и нет такой пакости, в которой бы они не участвовали. Утро за утром ватага собирается на скамейке под липами, чтобы затем двинуться в город по каким-то своим срочным делам, и каждое утро Отто использует эти короткие минуты их пребывания под липами для поучений.

– Мерзавцы! – набрасывается он на них. – Падаль! – начи-

нает он ораторствовать. – Да вас надо учить и воспитывать, вы же, молодая смена Германии!

Тем временем молодая смена занимается собиранием окурков от сигарет, набросанных за ночь.

– Отто, – прерывают они его речь, – выскажи свое мнение об этом окурке.

Показывают ему половину сигареты. Это обычно швыряет Пауле, этакая грязная макаронина. Сумел кого-то надуть, и с тех пор курит только половинки сигарет. Тут вся ватага срывается с места и исчезает из вида.

В этот час собираются у киоска Отто все безработные переулка. Прочитывают заголовки газет, косятся на пачки сигарет, и тут начинается треп.

– Германия, – говорят молодые, – проклятая страна. Бросает на произвол свою молодежь.

– Германия, – говорят другие, – чиновники ее имеют уши, да не слышат, имеют глаза, да не видят. Слово человеческое не войдет им в сердце и в ум. Только проклятые правила и законы управляют этим чиновным людом. А попробуй увильнуть, тотчас же твоя физиономия выглянет из окошка тюрьмы.

– Германия, – кричат все разом, – должна стать другой.

– Красной! – возглашает незнакомец, сжав кулак.

– Коричневой! – отвечает другой отрицающим жестом.

– Только не этой проклятой Веймарской республикой!

Победителем в этом споре всегда выходит Отто.

– Фашисты, – мечет он громы и молнии в своих противников, – ничего-то вы не смыслите, и никогда ничего не поймете. И день за днем становитесь все более мерзкими и дурными. Да разве можно что-либо объяснить этому отребью?

И Мина, видя, как ее хозяин разбушевался до того, что руки его трясутся, и он все сбивает кепку справа налево и слева направо, бросается ему на помощь лаем и завыванием, и это разносится по переулку с одного его края до другого. Наконец, ей удается заткнуть рты всем противникам ее хозяина.

А в часу восьмом утра, точно, изо дня в день адвокат доктор Филипп Ласкер выходит на улицу из своего огромного дома, чьи окна глядят прямо на скамью под липами, у выхода из переулка. Это самый привлекательный дом квартала. Обитатели его – лавочники, хозяева разных магазинов. У каждой квартиры небольшой балкон, на котором хозяева выращивают бегонии и помидоры в зеленых ящиках. В часы досуга, весной или летом, хозяева восседают каждый на своем балконе с большим чувством самоуважения. По сути, лишь они обозревают свысока жизнь переулка, видят всех, занимающих скамейку, и каждому из них перемывают косточки. Эти же, что находятся внизу, также изучают и оценивают тех, кто сидит на балконах. И бдительные, шумные соседские отношения связывают обитателей скамейки с обитателями балконов.

Клубы пыли – единственные, кто абсолютно равнодушен

и к тем и к этим, и стараются очернить и липы, и бегонии. Домохозяйки жалуются на это, высказывая все свои заботы перед Отто.

– Раскрой пошире глаза, Отто, и посмотри на балкон доктора Ласкера, – пустыня, как будто там нет вообще живой души, и это накладывает мерзость запустения на весь дом.

– Гусыни, – набрасывается на них Отто, – он что, бездельничает, как вы! С утра до вечера и с вечера до утра он хлопочет по делам своих клиентов. А гусыни эти приходят с всякими обвинениями.

Домохозяйки быстро убираются восвояси, и балкон доктора Ласкера остается пустынным и заброшенным, ибо Отто прав: неотложных дел у доктора Ласкера всегда полным-полно. Он является адвокатом всей еврейской общины, известным уважаемым бизнесменом и, можно сказать, душевным другом Отто. Вот и сегодня останавливается у киоска:

– Доброе утро, Отто, есть новости?

– Уйма! – и Отто раскладывает перед доктором газету «Красное знамя»: «Воровской совет в кафе»! – секрет раскрыт, решение не ожидается. Нападение на продавца одежды Крузе во Дворце развлечений по улице Канта – сбит с ног неизвестными и ограблен на 570 марок, нападавшие – сынки зажиточных берлинских семей, не имеющие профессии, тянущие из родителей деньги на игры в казино и другие развлечения…»

– Что говорить, доктор Ласкер, вот она многоликая столи-

ца Германии! «Многоликая», я бы сказал, на первый взгляд.

Отто сдвигает кепку справа налево и бросает взгляды на безработных, сидящих на скамейке, как всегда взирающих на небо в попытках предсказать свой завтрашний день:

– Запах разложения ударяет в нос, говорю я вам, идет он из этих затхлых домов. Тихо, Мина. Тихо! Отстань от полицейского! Ох, эта собака, доктор Ласкер, до чего научилась уподобляться людям. Каждый полицейский для нее как заноза. Гниль проникает в костный мозг всех этих обитателей переулка. Вот, к примеру, мой друг Пауле, истинным коммунистом был всегда, а теперь уже несколько месяцев без работы. Жена у него и двое деток. Так что, сидеть ему целыми днями в стенах дома и смотреть на мрачных своих домочадцев. Так он днями и ночами просиживает в подвальчике Эльзы. И так все! Прямой дорожкой – в трактир. Превращаются в воров, шлюх, готовы подобрать любую крошку, которую швыряют в их всегда раскрытые рты определенные партии. Говорю я вам, доктор Ласкер, у них размягчаются мозги, ничего не понимают и никогда не поймут. Да и за этим кварталом то же самое. Тут серость напускает туман в их мозги, там золото застилает глаза. Страх Божий! Запах разложения не дает дышать, весь город гниет.

Отто повышает голос, перебрасывает кепку справа налево и слева направо, руки его дрожат, он охвачен сильным волнением. И Мина, у которой тем временем появились два новых ухажера, начинает выть, а за нею – и они.

– Тихо, Мина! Тихо! Чертова сука! Не фашист он, а доктор Ласкер. Тихо! Так оно, доктор, Мина умница, но ум у нее женский…

Отто приближается к опасной теме – женщине, жене, и доктор Ласкер старается быстро распрощаться с ним.

Переулок уже отошел от сна. Евреи толпятся у мясной лавки господина Гольдшмита, пятого дома от края переулка. Долго рассматривают колбасы, висящие в окне. Заходят.

– Здравствуйте, госпожа Гольдшмит, сколько сегодня стоит салами? Что, так дорого?

Евреи потирают руки, ну, конечно, кто может в такое время себе позволить есть салами? Каждый грош на счету, это же страна миллионов безработных. Шастают по улицам парни в коричневых рубашках, орут на проклятых евреев. Оставляют они лавку. Захлопывают двери. Колышутся колбасы в витрине, как маятник или как колокола, пытаясь заманить покупателей. Но евреи бегут мимо, нет у них отдыха. Евреи напуганы, боятся за свои дела.

У доктора Ласкера тоже нет времени разглядывать колбасы в витрине, и он быстро заскакивает в лавку – там ведь за прилавком стоит его сестра, обладательница большого тела, госпожа Гольдшмит, небрежно одетая с ног до головы в какие-то чуть ли не лохмотья.

– Розалия, – не первый раз пытается доктор Ласкер преподать ей урок, – ну, посмотри на себя. Что это? Ты что, всегда будешь ходить в этих грязных обносках?

– Нет у тебя других забот? – кипятится сестра. – Что я, какая-то кокетливая девица, чтобы принаряжаться? Я замужняя женщина, у меня ребенок. И нет у меня, слава Богу, недостатка в неприятностях.

– Покупатели, Розалия, – пытается урезонить сестру доктор Ласкер. – Какая польза в том, что они тебя видят всегда в таком виде?

– Покупатели? Да у них уйма забот и неприятностей помимо моего платья.

Женщина, острая на язычок и проворная в деле, госпожа Гольдшмит. Глаза у нее зеленые, как у дикой кошки, позволяющие быстро улавливать желание клиента и ловко управляться в деле.

– Филипп, – говорит она брату, – начались летние каникулы. Что я буду делать с ребенком все эти дни? Сидеть целыми днями на скамейке в обществе воров и шлюх? Беда на мою голову, почему Бог наказал меня – растить детей среди этой черни? Ну, ты, почтенный адвокат, дай совет, что делать с ребенком? Денег-то в кассе кот наплакал. Беда на мою голову и на всю мою жизнь! В конце концов, ничего путного из него не вырастет.

– Об этом я и хотел тебе сказать, Розалия. Сегодня я поведу Саула в дом Леви. Там уже есть двое детей его возраста. Полагаю, они найдут общий язык и проведут хорошо летние каникулы.

Доктор Ласкер входит в соседние комнаты. Небольшой

узкий коридор ведет из лавки в столовую и одновременно спальню Саула и деда, весьма преклонного возраста. В комнате две кровати и квадратный стол, покрытый застиранной скатертью. На гвозде у двери висит рабочая одежда господина Гольдшмита, в которой он отправляется на бойню. На диване с красной обивкой – белая подушка, книга Псалмов и биржевая газета. Все вещи, кажется, набросаны случайно. Около окна на сплетенном из тростника кресле сидит дед. Год за годом сидит он так, в одиночестве, и смотрит во двор, в маленький темный квадрат, но весь день полный суеты. Когда дед был моложе, а Саул совсем малышом, поручено было деду следить за ребенком. Дед качал его на коленях и напевал ему песенку:

Мир – чужбина,
Сердце – льдина,
Старики – преставились,
Молодые – состарились.

Дед любил эту песенку и напевал ее печальным дрожащим голосом. И Саул пугался, что «дед плачет песенку», но дед не всегда плакал. Когда во двор приходил «кайзер Вильгельм», дед радовался. Кайзер был одет в форму солдата германской армии. Был бледен, вероятно, от многочисленных жертв Первой мировой войны. Он являлся во двор в сопровождении пса и громко пел знаменитую «Стражу на Рейне». Тогда дед открывал окно и угощал «кайзера Вильгельма» ко-

фе, хлебом и колбасой. Черта у «кайзера Вильгельма» был чудесная: умел внимательно слушать собеседника. И каждый раз дед пересказывал ему события своей жизни. Дед говорит, говорит, говорит. А «кайзер Вильгельм», облокотится о подоконник и молчит, молчит, молчит. В конце концов, глубоко вздохнет и скажет:

– Были времена… Да, были времена…

И тогда дед тоже вздыхал и снова становился печальным.

Мать Эльзы также часто посещала деда. И в ее обществе дед любил вздыхать. Подвальчик Эльзы был прямо напротив окна деда. В те дни Эльза была самой красивой из девушек переулка. Кудри у нее были рыжие, очи – черные. Ах, какими прекрасными были те дни! Сколько гостей было у Эльзы. И тогда ее мать покидала подвальчик, дед открывал ей двери, и они вели беседы, а вернее, всегда спорили.

– Как ты не стыдишься и разрешаешь дочери идти этой дорогой, такой красавице с таким добрым сердцем!

– Разве она не пыталась пробовать другие профессии? – повышала старуха голос. – Не пыталась трудиться? Служанкой была. Но и что с ней сделали ее хозяева? Именно это, но бесплатно. Нет выбора, нет выхода. – Глубоко вздыхала старуха, и дед – за ней.

Нынче дед совсем стар и тяжело болен. Совсем усохший и скорбный, сидит он в кресле, руки его дрожат, говорить он не может. Теперь поручено Саулу следить за ним. Он купает деда, кормит и понимает каждое его движение. И уже нет

друзей старика. «Кайзер Вильгельм» внезапно ушел в мир иной, и мать Эльзы больше не приходит. Да и сама Эльза уже не самая красивая среди девушек переулка, и гости ее поредели.

Доктор Ласкер здоровается с отцом кивком головы и проходит в кухню. Там сидит мальчик лет десяти и ест свой утренний бутерброд, мальчик светловолосый с карими глазами. Не причесан, всклокочен и немыт, и если бы не мечтательный взгляд, могло бы возникнуть подозрение, что он еще тот хулиган.

– Доброе утро, Саул!

Мальчик отвечает также кивком головы. Он скрытен и замкнут, и напрасное дело пытаться вытянуть из него слово.

– Саул, как ты собираешься провести каникулы?

– Не собираюсь.

– Хочешь поехать сегодня со мной проведать друзей? Тебя ожидает там масса удовольствий.

– Можно попробовать, – и нет никакого знака на лице Саула, указывающего на то, что он загорелся предложением дяди.

– В два приду за тобой. Тебе стоит до того времени переодеться.

Будильник на кухонном столе вызванивает девять утра. Доктор Ласкер торопится, час поздний. Множество дел, как всегда, не дают ему покоя. Через заднюю дверь он выходит во двор, там стоит Эльза у окна подвала и стирает белье. Она

напевает колыбельную песенку «Птичка в гнезде», и голос ее дрожит, словно он покачивает ребенка в своих объятиях. Но никогда не было у нее ребенка и никогда не будет.

Сегодня чудесный летний день, но переулок темен. Пыль поглощает солнечные лучи. Лишь иногда высвечивается окно, на которое наткнулся луч в своем мимолетном движении. На скамейке же – солнце в полном разгаре. Пришла очередь уличных подростков. Веселье, возня и смех. Отто сидит и, как обычно, читает им мораль:

– Босячки, выучите песню. Надо вас научить хотя бы одной. Ну-ка:

Господин Цергибель, похваляясь фраком,
Пляшет в туфлях, покрытых лаком.

Подростки орут разными голосами. Проносятся автомобили. Позванивают трамваи. Пыль поднимается до небес, но кто на это обращает внимание – скамья шумит и голосит:

Господин Цергибель, похваляясь фраком,
Пляшет в туфлях, покрытых лаком.
На какие шиши?
Да, на наши гроши!

И Отто дирижирует шумной капеллой с явной гордостью.

# Глава вторая

Дом этот, как полагает Саул, заколдованный дворец, которым повелевают черти и привидения. Стоит дом в глубине погруженной в дрему площади. В самом ее центре, можно сказать, пуповине ее, – небольшое озеро между плакучими ивами, концы ветвей которых погружены в воду. Это аристократический квартал. Раньше здесь жизнь била ключом, но кайзер приказал долго жить, и пожухло величие аристократов. Молодежь покинула, упорхнув из квартала, и остались лишь старики. На окна особняков опустились жалюзи, словно веки, прикрывшие глаза. Вьющиеся растения и клумбы стали дичать. И подобна теперь площадь спящей королевской дочке, которая ожидает поцелуя, чтобы восстать из сна.

Дом этот подобен всем остальным на площади. Но он более старинный, серый, словно порос сединой. Он покрыт дикими вьющимися растениями и прячется в тени шеренги каштанов, чьи листья широки. Окна же дома распахнуты, и оттуда льется музыка радио и граммофона, слышны песня и смех. На черном заборе адрес большими буквами: А.Леви.

– О, доктор Ласкер! – встречает его Фрида на пороге – какая радость, что вы приехали! Настоящая радость! Ужас, что творится в этом доме. Уважаемый хозяин уехал в отпуск, и, так как нет кота, мыши обнаглели. Ставят весь дом кверху дном, с ног на голову. Нет стула, стоящего на месте, нет

картины, висящей там, где ей полагается. Этот мальчик ваш родственник? Видно, воспитанный, порядочный. Ой, наши детки. Детки ли они вообще? Дом ли это? Матери здесь не хватает. Я стараюсь делать, что могу. Читаю им мораль с утра до вечера. А они – за свое! Иоанна, говорю, Иоанна, почему ты сбрасываешь юбку вниз? Воспитанная девочка снимает ее через голову. Почему, Фрида, спрашивает она, почему? Докажи мне, и я всегда буду снимать юбку через голову. Говорю уважаемому хозяину: дочь надо воспитывать. И что вы думаете, он мне отвечает? Почему, Фрида, действительно, почему надо – через голову? Ну, может ли быть такое дело?

– Фрида! Кто пришел?

По поручню лестницы скользит нечто рыжее, веснушчатое, сверкающее черными глазами. Стоит перед ним мальчик лет девяти. Босой, в черных спортивных штанах и майке, на которой смешаны все цвета радуги.

– Что тут делает этот веснушчатый грязнуля? – удивляется Саул и видит с еще большим удивлением, как дядя Филипп целует мальчика, и гневное лицо Фриды смягчается. Это самый младший из семи детей, живущих в доме, и потому, что на том месте, где он находится, всегда что-то падает, разбивается, разламывается, зовут его Бумба.

– Знакомьтесь, пожалуйста, это твой и Иоанны гость, – торжественно провозглашает Фрида, и Саул еще больше обалдевает, – идите в сад, дети. Извините, доктор Ласкер, что заставила вас битый час стоять в передней. Поднимай-

тесь наверх. Эдит вас ждет. А я ужасно сегодня занята, ужасно.

И тут же исчезает в мгновение ока. Доктор тоже поднимается по ступенькам, и как будто его нет. Саул остается один в огромной передней, внушающей страх своей роскошью. Саул словно приклеился к месту, а Бумба обходит его и осматривает снизу вверх и сверху вниз.

– Слушай, малый, – говорит он, – чего ты так расфрантился? Как павлин.

Саул покраснел. Следовало отвесить этому веснушчатому наглецу звонкую пощечину, но дом этот явно заколдован, Саул не может сдвинуться с места. Мама нарядила его в субботний синий костюм, повязала на шею отцовский галстук, умастила волосы маслом. Чем не павлин!

– Моя мама сказала, что так у вас принято.

– У нас? Я так не одеваюсь даже тогда, когда иду проведать моего отца.

– Твой отец здесь не живет?

– Здесь. Но на первом этаже. А мы, дети, – на втором. Что ты стоишь на одном месте! Пошли в сад. Познакомишься с братом и сестрами, – говорит Бумба и открывает дверь, ведущую из передней прямо в сад.

Летний день пышет жаром, и сад весь залит солнечным светом. Большая клумба окружена кустами мирта, охватывающими орех, чьи ветви доходят до первого этажа. Под орехом, вытянув перед собой ноги, сидит подросток лет пятна-

дцати, раздетый до пояса. Время от времени он втирает в кожу какую-то жидкость и продолжает сидеть без движения.

– Тихо! – говорит Бумба. – Братец мой, Франц, поспорил с другом: у кого до завтрашнего дня будет больше комариных укусов. Брат любит заключать пари. Это у него болезнь. И всегда он выигрывает. Вот уже два часа он сидит здесь и втирает в кожу сахарную воду. Тихо! Ты еще отгонишь от него комаров.

– Страх Божий, какие люди живут в этом доме.

Доходят они до небольшого шалаша, покрытого дикими алыми и белыми розами. В шалаше, в опрокинутой набок бочке сидит девочка лет десяти. Только голова ее с толстыми черными косами торчит наружу. Девочка погружена в чтение книги и не обращает на них внимания. Любопытный Саул хочет войти в шалаш, но Бумба его остерегает:

– Это моя сестра, Иоанна, не приближайся к ней. Сразу же начнет кричать: «Не заслоняй мне солнце!» Она читала о каком-то мудреце, который точно так же сидел в бочке, и с тех пор сама не вылезает оттуда. Это у нее тоже такая болезнь, чтение. Идет в ванную с книжкой, выходит оттуда, забыв помыться. Это у нее болезнь.

– Что у каждого из вас есть болезнь?

– Да, так говорит Фрида. И у меня болезнь – все разбирать и раскручивать. Я должен увидеть, что есть внутри любой вещи. Фрида говорит, что если я не отучусь от этого, когда-нибудь разберу на кусочки собственную жену.

Они приходят на маленькую площадку. Там играют в теннис две кудрявые светловолосые девушки. Обе одеты в розовые пижамы. Собачка очень странной формы собирает мячи.

– Мои сестры, Руфь и Инга, и пес Эсперанто, – Бумба гладит пса и целует его в нос, – некрасив, но у него душа красивая. Эсперанто – подарок дедушки Якова.

Однажды дед приехал из маленького своего городка, и привез этого щенка.–

– Отец, что это?» – Спросил господин Леви, и лицо его не предвещало ничего хорошего.

– Это собака, сын мой». Дед любит говорить с пафосом.

– Он лает? – спросил господин Леви удивленно, смягченным голосом.

– Сын мой, – ответил дед, – собаки обычно лают, – и это был один из редчайших случаев, когда дедушка согласился с сыном – и если ты разрешаешь детям играть с древесными чурбаками, пусть играют с чем-то живым. – И так остался песик в доме и стал ее важным и нужным жильцом. И поскольку вид его свидетельствовал, что в его создании участвовали все собачьи породы мира, дети назвали его «Эсперанто».

– Дети! – позвали их прыгающие с ракетками девушки, – оставьте в покое собаку, он занят игрой.

Одна из девушек приблизилась к ним, обняла и расцеловала Бумбу, и тут же вернулась к игре.

– Меня все любят, и при любой возможности целуют, –

объясняет Бумба, – я единственный в доме, который идет к отцу, когда ему захочется и не ждет от него приглашения.

Из-за кустов, в углу сада, слышался голос поющего мужчины в сопровождении звуков мандолины.

– Идем, Саул, там, за кустами, сидит наш домашний учитель, Фердинанд. Он учится играть на мандолине.

Фердинанд – изобретение господина Леви. Несколько лет назад ему сообщили, что две его кудрявые дочери не очень-то преуспевают в учебе, что сильно ударило по его отцовскому самолюбию: такие неглупые девушки! Несомненно, учителя не могут их заинтересовать. Надо привести настоящего учителя. Так в доме появился Фердинанд, худой и бледный студент, жаждавший стать актером. Он декламировал с большим чувством стихи Гете и Шиллера, и господин Леви очень ему удивлялся и послал его на второй этаж – и смотри, что случилось: в присутствии двух кудрявых и смеющихся девушек Фердинанд стал не декламировать, а заикаться.

– Лучше тебе прекратить эти занятия, – предложили добросердечные девушки, – ты очень худ, как будто проглотил палку.

– Слушай, парень, – добавила Инга, удивительно гибкая девушка, словно на роду ей было предписано быть преподавателем физкультуры, – просто глупость нас обучать, ты очень слаб, нездоров, а у меня есть проверенные лекарства против слабости тела. С завтрашнего дня я начну обливать тебя холодной водой, я делаю это каждое утро со всеми че-

нами семьи. Ночью не спи в пижаме, это вредит здоровью.

– Что тут происходит! – ворвалась в комнату Фрида. – Ой, только тебя не хватало среди этих сумасшедших.

Вгляделась в него.

– Парень, – сказала, нахмурившись, – у тебя много волдырей. Ты, видно, употребляешь горчицу в большом количестве. В твоем возрасте нельзя есть горчицу. Абсолютно нельзя.

Прислушался Фердинанд к голосу девушек и отказался их учить. Но чтобы успокоить свою совесть, обучил пятилетнюю Иоанну чтению и письму. В конце концов, стал членом этой большой семьи и верной тенью кудрявых девушек. С тех пор прошло пять лет. Сегодня Фердинанд преподает в драматической школе, продолжает жить в доме Леви и сопровождать девушек, куда бы они не направлялись.

Фердинанд – любитель публики, весьма обрадовался двум мальчикам. Сердечно принял Саула.

– Отгоняйте от меня мух, дети, а я вам сыграю на мандолине.

И вновь весна вернется к нам
Через сотню лет,
Ты вновь прекрасным будешь там,
Одетым в чистый свет.
И на скамье, под сенью лип,
Через сотню лет,
Ты ощутишь любви прилив,

Любимой чистый свет.
И на скамью с годами вновь
Весна вернется к нам,
И с ней свет чистый и любовь,
Но нас не будет там.

Тем временем доктор Ласкер ищет Эдит, ходит по первому этажу, и всюду непривычный для этого места беспорядок, указывающий на то, что кто-то здесь присутствует. Обычно тут не следует искать детей, которые в насмешку называют эту часть дома – «Жилище принца», и стараются пробежать его большими скачками, чтобы скрыться в своих комнатах.

Дом этот – старинный, аристократический, обширный, и на всем – печать прошлых владельцев – юнкеров весьма знатного происхождения. Примерно, на поколение раньше дом купила семья Леви, богатая ассимилированная семья еврейских промышленников. К юнкерскому стилю она прибавила роскошь и культуру процветающего класса. И только на этом этаже остался в цельности старинный стиль. Круглый салон обшит потемневшим от времени дубом, стены украшены рогами воинских головных уборов в стиле аристократов Германии. В небольшой нише стоит статуя Фортуны, вытесанная из белого прозрачного мрамора, лицо ее нежно и молодо, как у мечтательной девушки. Пол покрыт мягким ковром, скрадывающим голос и вбирающим шум. Атмосфера сдержанности и вежливости охватывает гостей дома.

Доктор Ласкер вошел в столовую. И тут стены обшиты

темным постаревшим дубом. Так же выглядят занавеси из алого бархата с золотыми кистями на окнах, словно остатки былой роскоши. Да и камин, издавна не используемый, стоит как никому не нужное украшение, сохраняемое лишь для стиля. Над камином висит большая картина, на которой изображена брюнетка со спокойным выражением лица, но черные ее глаза пылают огнем в противовес всему ее облику. Это хозяйка дома в момент полного покоя. Она умерла несколько лет назад.

Доктор с удивлением смотрит на накрытый стол. Приборы стоят пустыми и неубранными после еды. Дети, вероятно, навели здесь «порядок» по собственному вкусу. Когда их отец дома, они себя так не ведут. Господин Леви большой педант в отношении правил. «Правила поведения человека – его честь», учит он своих детей и требует от них приходить к столу в праздничных одеждах, педантично соблюдая все правила взаимного уважения. Каждый день он приглашает к обеду гостей, и в этот час приятны ему беседы о важных делах и событиях в мире. Но дети этого не приемлют и острят по любому поводу. «Пир Платона» – называют они эти обеды, и предпочитают есть в кухне, у Фриды, и добросердечной кухарки Эммы. И только Эдит милосердна к отцу и принимает на себя всю тяжесть забот домохозяйки. Каждый день она появляется в столовой, чтобы встретить гостей отца.

Доктор Ласкер помнит, как первый раз вошел в этот дом. Это было давно, после Первой мировой войны. Был он тогда

беженцем двадцати лет отроду. Первые годы в Германии были годами страшного унижения, когда человека просто втаптывали в прах. Сразу же, после короткого периода процветания, пришел период безработицы. День за днем он просиживал с другими безработными на скамье, отверженный даже среди отвергнутых, с аттестатом зрелости русской гимназии и желанием быть учителем.

– Неудачник, – обзывали его сидельцы на скамье, – бежал от русской революции? Черный снаружи, белый изнутри, – и ставили точку жирным плевком.

– Из-за таких трусов, как ты, Германия проиграла войну, – говорили другие и тоже отплевались.

Дни тянулись, страдания продолжались, надежда давно растаяла. Тогда он и был послан от имени еврейской общины в этот дом. В связи с тяжелым положением отвергаемых везде эмигрантов, община обратилась к богатым евреям Берлина – и они откликнулись. Вид площади почти не изменился с тех пор. И тогда дверь ему открыла Фрида и заставила ждать битый час, пока не ввели его в кабинет хозяина. Мужчина высокого роста, светловолосый с темными холодными глазами изучал его снизу доверху, пока во взгляде его не появилось одобрение.

– Это ты – молодой беженец? Просили меня поддержать тебя, но я не расположен к филантропии, и это касается также тебя. Более всего мне неприятны отношения между поддерживающими и поддерживаемыми. Написали мне, что

ты хотел бы быть учителем. В учителях я не нуждаюсь, и полагаю, что Германия также не нуждается в учителях, не укорененных в германской культуре. В моем бизнесе нужен в талантливый адвокат или преуспевающий инженер. Выбирай одно из двух. Преуспеешь, карьера в жизни тебе обеспечена, а польза для меня будет огромная. Подведем счет расходам. Когда же ты станешь профессионалом, вернешь мне долг. Не преуспеешь – мой проигрыш. Я ведь купец, торговец, и, вкладывая в дело деньги, знаю, что существует определенный риск. Подумай над всем, сказанным мной, и ответь.

Господин Леви позвонил. Снова Фрида препроводила беженца до двери. В передней стояла девушка лет четырнадцати с головкой маленькой Мадонны, две светлые толстые косы и большие голубые глаза. Смотрел на нее Филипп какое-то мгновение и подумал, что никогда не видел еврейскую девочку, такую спокойную, такую светлую, такую уверенную в себе.

Он решил стать адвокатом. Вскоре он настолько сблизился с семьей, что стал как бы ее членом, другом всем: и хозяину, и Фриде, и детям, старшие из которых были, примерно, его возраста. Они прозвали его «Папой римским» за проповеди против морали, которые он произносил перед ними время от времени, и за его воинственные взгляды против существующего порядка.

– Филипп, – говорил ему господин Леви, – я не признаю твое мировоззрение. Положим, быть социалистом, это мне

еще понятно. Это болезнь возраста. Человек, когда он молод и прямодушен, должен быть социалистом. Но сионизм твой лишен всякого смысла. Оставить все дела и стать адвокатом еврейской общины? Не могу простить тебе эту глупость. И все же, несмотря на это, – добавил господин Леви, и голос его стал печальным, – твоя ошибка мне более приятна, чем духовная цыганщина моего сына.

– Папа римский, что ты тут делаешь?

Стоит посреди комнаты молодая женщина лет двадцати четырех, одетая в зеленые шелковые брюки и цветастое японское кимоно. На ногах расшитые японские домашние туфли. Фигура у нее юношеская – широкие плечи, узкая талия, и движения спокойны и гибки. Светлые волосы собраны клубком на затылке, взгляд уверенный. Кожа лица бледная и прозрачная до того, что видны голубые жилки на висках. Филипп называет ее «Мадонной» и очень ее любит. Они добрые друзья. Она тоже относится к нему с любовью.

– Пошли в мой зимний сад, Папа, – Эдит берет его под руку.

– Согласишься на легкую беседу в беседке под пальмой, с чашечкой кофе?

– А ты употребишь все усилия, чтобы превратить меня в несчастного моряка?

Эдит смеется. Зимний сад это, по сути, застекленная веранда. Зимой она отапливается, и Эдит выращивает в ней кактусы, пальмы и всякие южные растения. Это ее любимое

место. Она просиживает здесь зимние вечера, когда снаружи бушует ветер в ветвях каштанов. Свет на веранде синеватый. Эдит распускает свои светлые косы и в бледном этом свете они приобретают необычный оттенок.

– Она выглядит там, как Ева в райском саду, – посмеиваются над ней сестры, а братец Гейнц, у которого язычок остер, как бритва, добавляет, – но от древа познания она еще не вкусила.

И даже доктор Ласкер немного иронизирует, увидев ее в белом ночном халате раскачивающейся в кресле-качалке под пальмой, растущей из кадки.

– Слышишь, Мадонна, – надсмехается над ней доктор Ласкер, – не хватает лишь скалы и золотого гребня, чтобы ты выглядела, как сирена верхом на волне морской, и совращала сердца несчастных моряков. Поверь мне, корабль любого моряка сойдет с ума, увидев тебя.

– Только корабли дураков сходят с ума, – отвечает Эдит, – мужественный, настоящий моряк захватил бы скалу и вместе с ней деву. Ну, Папа римский, пойдем уже. Моряк, не моряк, я должна тебя укрыть от всей компании. Обнаружат тебя, не дадут покоя даже на миг. Пошли!

В зимнем саду уже шумит кофеварка. Эдит сервировала маленький столик японским сервизом.

– Во имя целостности стиля, – смеется доктор Ласкер, снимая очки, чтобы протереть стекла.

«Без очков он моложе и симпатичней, – думает про себя

Эдит, – В очках он и вправду выглядит, как Папа римский, готовый в любой миг поднять руки к небу и благословить верующих. Жаль, никогда не привыкну к такому его виду».

Филипп Ласкер среднего роста. Очень худ. Он не может почему-то управлять нервными движениями плеч и рук. Волосы черные, гладкие. Лоб более высокий, чем обычно бывает при таком сложении, черты лица тонкие и чересчур серьезные, как у человека, над которым нависает тяжесть бесчисленных дел.

«Что у меня общего с этой избалованной девчонкой?» – не раз вопрошает себя в душе Филипп. – «Может ли взрослый и серьезный человек любить женщину только за то, что голова ее столь изящна, как головка Эдит? Этот узел, – упрекает он себя, бесцельно расхаживая целыми вечерами по своей комнате, – надо развязать единым махом. Оставлю Германию. Немало я проповедовал ближним – ехать в страну Израиля. Пришел и мой черед. Вообще-то он пришел давно. И сделать это надо, вместо того, чтобы сплетать, как восемнадцатилетний юноша, дом из паутины мечтаний о женщине».

И в то же время он знал, что с нетерпением ожидает завтрашнего дня, чтобы снова встретиться с Эдит и спорить о том, что никогда, никогда пути их жизни не пересекутся.

Однажды ночью они прогуливались по саду под руку. Эдит прижималась к нему. Хотела показать выпестованные ее руками белые розы. В лунном свете, почудилось Филип-

пу, настал момент сближения, он притянул ее к себе и поцеловал. Ощутил, быть может, с опозданием, что она пытается вывернуться из объятий. Когда она высвободилась от него, глубокая морщина пролегла у нее между бровями. Тотчас же он защитился стеной юмора, как это бывало не раз, когда волнение захлестывало его в ее присутствии.

– Чего ты так испугалась того, что люди обычно делают в любое время дня и ночи?

– Не люблю видеть лицо, искаженное страстью, и взъерошенные волосы, и…

– Ладно, ладно, – прервал он ее, боясь услышать нечто окончательное, – можешь причесаться после этого.

Эдит, в высшей степени оскорбленная и рассерженная, отогнала его от себя. И он начал лихорадочно собирать документы на отъезд, бегать по всем инстанциям, пока не завершил свой путь в цветочной лавке, где купил Эдит букет белых роз, в знак примирения. На следующий день вернулся к ней, и она встретила его радостным смехом, как будто между ними ничего не было. И все началось сначала.

– Что с тобой сегодня, Папа, снова завяз в размышлениях? Заварю кофе, может, вернешься к себе?

– Привел к вам гостя, Эдит, сына моей сестры. Давно думал его привести. Мальчик рос в тяжелых условиях. Он дик, не воспитан, но очень способен и умственно развит. Хотел бы, чтобы он вместе с Бумбой и Иоанной поехал к деду. Можно?

– Если дети согласятся, почему нет? Места достаточно для всех, и дед обрадуется. Кстати, Филипп, у отца новая идея. Он объявил нам, что собирается послать детей в интернат, где обучение и воспитание на высшем уровне. Что это вдруг на него нашло? Что вдруг он начал вмешиваться в дела своих детей? Знай, что я никогда не дам ему осуществить этот план. Мы все годы пеклись о детях, и у отца нет никакого права в это вмешиваться.

– Планы твоего отца, мадонна, мне очень нравятся. Дети здесь растут дикарями. И у отца есть эти права, как у любого отца, хороши они или плохи.

– Нет! Нет! – непривычно возвысила голос Эдит. Когда она рассержена, зрачки ее глаз расширяются, и голубизна их превращается в узкую каемку. Это случается редко, несмотря на то, что весьма ей подходит.

– Филипп, но ты же, как и я, знаешь, что отец никогда не относился к нам в стиле «отцов и детей» Ни поцелуя, ни объятия, когда мы были малыми, и никакого внимания на то, что с нами происходит, когда мы выросли. Любая попытка к нему приблизиться натыкается на холодность, весь он – принципы, правила и законы. Мы не дадим вывести детей из дома? Кто близок им, если не мы? Мы их любим. Около нас они развиваются в атмосфере свободы, никто не мешает их наклонностям – этим, в общем-то, необычным детям.

– «Мы, дети особенные, не похожие на других, и нам многое позволено». Этот припев, Мадонна, я слышу с тех пор,

как вошел в ваш дом. Вы не объединились в чем-то, что учат люди, чтобы приспособиться к реальности текущей жизни, к рамкам этой жизни. Ведь деньги вашего отца дают вам возможность строить для себя выдуманную реальность, особенную, только для этого дома, более того, думать, что это и есть настоящая действительность. Скажи правду, Эдит, если бы не это изобилие, без счета, без меры, к которому вы привыкли, могли бы вы бросаться в любое сумасшествие, любую авантюру, осуществлять любую идею, пришедшую вам на ум? Что будет, если однажды вы наткнетесь на иную реальность? Боюсь, что не сможете в ней устоять. Скажи мне, дорогая, какой ущерб будет нанесен Иоанне, если ее научат стелить постель, стричь ногти, пришивать пуговицы, знать порядок простой жизни, вместо того, чтобы быть погруженной день-деньской в чтение, проглатывать книг не по возрасту?

Филипп начинает прогуливаться по веранде, нервно поводя плечами и думая про себя: «Именно сейчас подходящее время прояснить ей некоторые вещи».

«Что он опять хочет?» – думает Эдит, – «Не удается мне с ним найти общий язык, точно так же, как с моим дорогим отцом. Ведь он тоже человек принципов. Почва под его ногами – та же серая действительность, куда он возвращается, чтобы без конца пережевывать одно и то же. Никогда он не поймет нас».

– И ты, Эдит, навсегда останешься в стенах этого дома, в

полном бездействии, и жить будешь в этой выдуманной тобой реальности? И ты не хочешь выйти в широкий мир, испытать себя, почувствовать настоящую жизнь? Ты не думаешь о своем будущем?

Филипп остановился у кресла-качалки, наклонился над Эдит. Она видит над собой его лицо, узкий сжатый рот. Филипп бледен, тяжело дышит. И зрачки ее снова сужаются. Опять голубые ее глаза излучают равнодушие. Между ее бровями снова – морщина.

– Что это за разговоры, Папа? Какую реальность жизни ты снова хочешь мне предоставить? Дом этот и есть реальность моей жизни, и она вовсе не выдуманная. Я довольна моей жизнью, и принимаю ее такой, какая она есть. Думать о каком-то будущем, зачем? Ты ведь знаешь – я не занимаюсь гаданием на киселе.

Морщина между ее бровей углубляется. Она начинает раскачиваться в кресле-качалке и замолкает. Филипп сидит напротив, беспомощный, как после боя.

– Господи Иисусе, мальчик!

Стеклянная дверь веранды резко захлопывается. В комнате стоит Франц, гордый, как тореадор: кроме укусов комаров он получил два осиных укуса. Он счастлив. Фрида бежит за ним с тазом и полотенцем.

– Езус, оса укусила его! Сейчас, сейчас, надо сделать ему перевязку. В родной моей деревне умер человек от укуса осы, а у ребенка их два! Франц, немедленно иди ко мне!

Франц возражает.

Пришедший в себя доктор Ласкер, смеется:

– Оставь его, Фрида. Когда у него вспухнет столько, сколько душа его желает, обещаю тебе, он останется живым.

– Куда вы исчезли?!

Вся компания стоит на веранде. Первый – Эсперанто, последний – Фердинанд с мандолиной, подвешенной к шее. Дружески окружают доктора и говорят все разом.

– Папа, я еще не получила от тебя сердечные поздравления! С помощью Фердинанда, моей обворожительной улыбки и доброго имени отца я сумела сдать экзамен на аттестат зрелости.

– И что ты будешь делать теперь, Инга?

– Я хочу быть преподавателем спорта, а отец хочет, чтобы я пошла на два года – учиться в университет и получила хорошее образование – приданное приличной девушки.

– А где Гейнц?

– Шут его знает. Завтра, Папа, уезжаем на отдых в горы. Франц едет в экскурсию с классом.

Эх, кто деда моего заберет
На мотоцикле – задом наперед.

– Фердинанд, перестань наигрывать эти твои дурацкие песенки!

– Эдит, а ты не собираешься на отдых?

– Через месяц поеду навестить отца в Швейцарских Альпах, Гейнц и я остаемся охранять очаг.

– А мы завтра едем к деду, ура! – кричит Бумба, – Эдит, Саул поедет с нами. Дед наш – чудо. Даже костный мозг мы унаследовали от него.

– Что ты несешь, Бумба?

– Своими ушами слышал, как дед сказал отцу: «Нет у тебя своего костного мозга. То, что у детей, они унаследовали от меня».

Все смеются.

Саул стоит среди пальм в полнейшем удивлении: ведь сразу понял, что дом этот заколдован. Такое великолепие вокруг! И дядя Филипп в самом его центре – словно повелитель всех этих людей. Очевидно, значимость его гораздо больше, чем ее представлял Саул раньше.

– Твой мальчик, Филипп, выглядит как Каспар-помощник, надеюсь, он будет хорошо следить за нами.

– Иоанна, что-то ты сегодня совсем тихая, – Филипп притягивает к себе девочку, маленькую и чернявую.

Иоанна худа, бледна, сера лицом, только глаза черные, пронзительные, подобно глазам матери.

– Ах, эта девочка, – бывало вздыхал господин Леви, когда должен был на нее поглядеть, хотя обычно старался этого не делать – мать тоже была брюнеткой, но – аристократкой, красавицей, а эта такая маленькая еврейка…

Иоанна – маленькая несдержанная дикарка, некрасива и

внешне расхристана. Всегда у нее спущен чулок, прорехи на платье, оторваны пуговицы. Никогда не причесывается, и кажется чужой в компании братьев и сестер, светловолосых, красивых, аккуратных в одежде.

– Езус, – вздыхает Фрида, купая в ванне худое тельце девочки, – Езус, в семье не без урода.

Но Иоанна не так уж проста, дважды перепрыгнула через класс в школе.

– Иоанна, как тебе нравится наш маленький гость? – спрашивает Филипп.

– Этот? Очень странный. Рта не раскрывает. Только глазами зыркает все время.

– Иоанна, – кричит Бумба, – мы поднимаемся, я хочу показать Саулу мою комнату, идем с нами.

– Мы идем паковать чемоданы, а затем ночью погулять по городу, расставаясь с ним, – говорят кудрявые девушки, и Фердинанд плетется за ними.

– Эдит, – говорит доктор Ласкер, – насколько я понимаю, ты остаешься в одиночестве в доме. Не делай этого. Идем со мной. Пойдем в любое место, куда хочешь – в театр, в кино, на танцы, погуляем согласно твоему желанию и вкусу. А захочешь, уведу Саула домой и вернусь к тебе? Согласишься, маленькая Мадонна?

«Может, согласиться? Летний жаркий вечер, ночь удивительно хороша. Что я буду одна делать в такую ночь?» – размышляет Эдит.

Филипп стоит напротив нее. И она ощущает запах жара офисов, набитых старыми книгами, который идет от одежды Филиппа. И снова содрогается.

«Нет, устала от него. Лучше останусь дома».

– Папа, сегодня нет, я очень устала. Возьму книжечку и прилягу отдохнуть. Фрида принесет мне ужин в постель и начнет рассказывать о давних днях. Я очень люблю такие вечера.

Все ушли. В огромном доме остались лишь Эдит, Фрида и двое детей. Сна ни в одном глазу. Ночь тяжела и раздражительна. Эдит переходит в столовую. Здесь жалюзи уже опущены. Фрида всегда боится воров. Как только наступают сумерки, она тут же опускает жалюзи. Часы бьют девять. Эсперанто дремлет в одном из кресел. Эдит включает свет. Использованные приборы все еще стоят на обеденном столе. Из радиоприемника, который забыли выключить, льется цыганская музыка, то мягкая, успокаивающая, то бурная и раздражающая. – вот она легко так смеется, вот возникает плачущая скрипка, внезапно, как удар бича. «При звуках этой мелодии невозможно удержаться, чтобы не пуститься в пляс. Где-то пляшут люди в эти мгновения, взявшись за руки, и музыка их сопровождает. А я стою тут одна-одинешенька и не знаю, что мне делать. Хотела бы и я плясать. С кем? Этого я не знаю, и вообще ничего не знаю. Филипп прав, пришло время подумать о будущем. Но если бы сказал мне это как-то по-другому. Только не Филипп! Что-то со мной не в

порядке! Какая-то усталость, которую не могу преодолеть. Гейнц говорит: «Усталость деградации». Гейнц всегда попадает в болевую точку. А я просто не умею отвечать. Каждое дуновение, даже самое слабое, может меня одолеть. Мама, несомненно, не была такой. Никогда отец не говорил с ней. Только дед, который просто перед ней преклонялся. Со дня ее смерти я не была в ее комнате, пойду туда».

Эдит зажигает свет в комнате матери. Комната чисто прибрана. Фрида всегда здесь наводит порядок. Все здесь зеленого цвета – и шелковые шторы, и шелковые покрывала на постели. Широкая дверь ведет в спальню отца. В отверстиях замков стенных шкафов торчат ключи. Эдит открывает шкафы. Рука здесь не прикасалась ни к чему. Небольшой беспорядок в ящиках матери. Тонкий запах духов. Дверь в ванную и в комнату для одежды. И здесь запах дорогих духов. Неужели так всегда и будет все здесь стоять? Словно все еще ощутимо здесь живое дыхание матери. Три зеркала расположены так, что, сидя перед ними в кресле, мать могла видеть себя со всех сторон.

– Господи, девочка! Эдит, что ты тут делаешь? Увидела в комнате свет и вошла. Идем, я приготовила тебе ужин.

– Фрида, ты помнишь маму?

– Помню… – Фрида скрестила руки, – помню, благословенна память ее, словно только вчера ушла от нас. Тут вот сидела каждый вечер, и я расчесывала ей волосы. Какие роскошные волосы были у нее! Черные, как уголь, и мягкие, как

шелк. Когда распускала их, выглядела как девушка. Никогда не ложилась спать до прихода отца. Тут вот он стоял и смотрел, как я расчесывала ей волосы. Какие они тогда были веселые! Как смеялись! Не раз он забирал гребешок из моих рук и говорил: «Иди, Фрида, иди, я завершу твою работу». Мама твоя краснела. Даже после того, как родила и поставила на ноги семерых детей, краснела.

«Отец! Любящий? Истинный мужчина? Как странно».

– Фрида, отец сильно любил маму?

– Что за вопрос! Мужчины любят шелк. Мама твоя была как шелк.

– Эдит, я разыскиваю тебя по всему дому, – в комнате стоит Гейнц, высокий парень, блондин, выражение лица умное, острое, самоуверенное. – Дорогая сестра, я привел гостя. Согласишься ли ты принять его? Он будет в восторге.

– Оставь меня, Гейнц. Только гостей мне не хватает сегодня.

– Почему, Эдит? Он пришел с единственной целью – увидеть твое дорогое необычное лицо. И если ты не придешь, я приведу его сюда, он просто жаждет с тобой познакомиться.

– Иди, иди, детка, – говорит Фрида, – чего тебе крутиться, подобно тени, среди стен.

Эдит идет за братом. В гостиной их ждет Эмиль Рифке, офицер германской полиции, рыжий и широкоплечий.

– Можно исповедаться?

– Эмиль, извини меня! Мне надо пойти, сменить одежду.

Сестра тем временем займется тобой.

– Хотите что-нибудь выпить?

– Госпожа, нет у меня выбора, я должен признаться, не преувеличивая. Госпожа прекрасней всех женщин, которых я видел в жизни.

Эдит вежливо посмеивается. «Такое отсутствие вкуса. Сразу же начать с комплиментов». Глаза гостя суживаются до двух узких щелок, стоит и не отрывает от нее глаз. Лицо оценщика товара, руки грубые и красные, как у мясника. «Лучше бы он спрятал свои руки в перчатки и перестал, в конце концов, так смотреть на меня…»

– Госпожа моя так тиха. Всегда так? Может, присоединится к нам в этот вечер? Хотим немого развлечься. Не сомневаюсь, что она будет нас сопровождать. Я с места не сдвинусь без нее.

Щелки глаз на миг расширяются и сжимаются снова. Эдит в смятении. «Положение мое действительно неловкое. Выдерживать такое искрометное давление, идущее от него. Как я спасусь от этого? Лучше ехать с ними, чем так стоять даже еще миг под этим взглядом».

– Конечно же, господин, с удовольствием буду сопровождать вас. Извините, я должна вас оставить одного на некоторое время. Мне тоже надо сменить одежду. Брат мой сейчас вернется.

Она вышла. «Почему у меня такое тяжелое дыхание? Несомненно, не из-за этого, с руками мясника. Просто было

ужасно неловко».

– Куда бы хотела госпожа поехать? – Гейнц за рулем. Эмиль Рифке сидит вплотную к ней. И опять эти узкие щелки глаз хищника, лишающие ее покоя.

– Простите, я хочу слушать цыганскую музыку, танцевать под звуки этой мелодии.

– Согласен. Гейнц, гони! – и обоих одолевает смех.

Доктор Ласкер и Саул возвращаются домой до наступления темноты. С момента выхода из дома Леви мальчик молчит. Звука нельзя добиться от него. Доктор Ласкер оставляет это напрасное занятие и сосредотачивается на размышлениях.

В этот час скамья занята целиком. Четверками и тройками прогуливаются по переулку девочки лет четырнадцати, и гуляющий по тротуару, должен пройти сквозь их строй. Есть парни, которые занимаются этим весь вечер: прогуливаются взад и вперед, каждый раз разделяя девочек, которые получают от этого большое удовольствие, смеются и подмигивают в ответ на подмигивания парней. Целый день они трудились на фабрике, теперь город их. Когда они проходят мимо Отто, он не может удержаться:

– Не чувствуете, какой запах в воздухе? Яд источают эти девицы, и вправду, голые змеи, хуже всех проституток переулка. Почему нет? Из корня гадюки исходит яд.

Девицы слышат, но не понимают намека. Наоборот, им приятна беседа с ним.

– Отто, расскажи нам, почему ты дал собаке имя – Мина?

– Ну, в общем-то, Мина это также имя моей жены. Однажды купил эту собаку, вернулся домой и закричал: «Мина, куколка моя, любимая, иди сюда, быстрей». – Тут же соседи распахивают окна, следят за спектаклем, и лопаются от смеха. – Так вот отомстила мне жена! Не спрашивайте, не спрашивайте…

– Саул, завтра в обед приедут тебя забрать на каникулы. Будь готов. Скажи хотя бы, было хорошо?

– Да, дядя, было хорошо.

Они расстаются, Саул идет домой. Эльза стоит у дома. Вышла на работу, платье на ней черное, светящееся, короткое, до колен. И Пауле стоит там, опираясь о стену дома, руки в карманах, сигарета в углу рта, стоит бесцельно, смотрит и молчит. Еще немного, и люди пойдут в трактир. Он находится напротив. На оконном стекле трактира нарисована полуголая толстуха, а под нею надпись – «Заходите посмотреть на жирную Берту».

Саул знает, что нет никакой Берты, и никогда не было. Это сделано лишь для привлечения публики, и кто однажды сюда заходит, скорее всего, уже не выйдет оттуда. Даже если не найдет там жирную Берту.

Мясная лавка полна входящих и выходящих евреев, много разговаривающих и мало покупающих. Но это не имеет значения. Мать Саула занята по горло, и ни о чем не спрашивает. Спросила бы, Саул ничего бы не мог сказать. Все

здесь видится ему уродливым, невероятно уродливым.

# Глава третья

Какое чудесное утро! – обращается Саул к Отто.

Отто не слышит, он погружен в очередной спор. В это утро безработные вышли раньше обычного, окружают киоск. Диспут закипает, Мина лает, Отто охрип, можно ли обратить внимание на чудесное утро?

– Ах, подлецы, подлецы, никогда не поймете, в чем дело. В навозе родились, в навозе помрете.

Проходит незнакомец и просит непартийную газету. Отто просто выходит из себя.

– Никто ничего не понимает. Я фашистские газеты не продаю! Ничего в них не пишется, только ложь и вранье!

Жилы на шее Отто надуваются от гнева. Незнакомец пугается такой реакции и быстро ретируется. Безработные помирают от смеха и усаживаются на скамью.

– Отто, – говорит Саул, – сегодня, в двенадцатом часу я уезжаю на каникулы.

– Каникулы! – глаза Отто расширяются. – Конечно, я всегда говорил, что ты мелкобуржуазный ребенок. – И нотка огорчения проскальзывает в его голосе.

– Что это такое – мелкобуржуазный, Отто? – пугается Саул.

– Мелкобуржуазный?.. Ну-у… Гм… Погоди. – Отто выпрямляется. – Представь себе такие длинные сани. Предста-

вил?

– Да.

– Сани везут из рая в ад, понимаешь?

– Понимаю.

– По разным причинам властителям тесно в раю, понял?

– Да.

– Нет. Сейчас поймешь. Итак, берут они несколько из своих товарищей, сажают в сани и осторожно толкают и… сани сдвигаются с места!.. И так они спускаются вниз, в ад, и так из буржуев превращаются в мелких буржуев. Ты понял?

– Да.

– Нет. Сейчас поймешь. Итак, понятно, что те отверженные не хотят спускаться в преисподнюю, хватаются с двух сторон за сани и пытаются затормозить спуск. Но они просто не понимают в чем дело. Сани скользят легко, и, в конце концов, все окажутся в преисподней. Эти попадают туда быстро, а те – помедленней. Понял?

– Да.

– Нет. Сейчас поймешь. И вот, когда кто-то теряет терпение, перестает тормозить руками и, хоп, спускается вниз, тотчас его товарищи на санях кричат: Караул! Ничтожество! Изменник! Теперь ты понял?

– Понял и не понял! Ведь правы те, кто хочет затормозить сани. Зачем же им спускаться в преисподнюю?

– Ага! – Отто сдвигает кепку со стороны в сторону. – Прямо политическая мысль! Жить в нашей преисподней не

большое удовольствие. Но пойми, мальчик, есть кто-то, кто сооружает лестницу из ада в райский сад, и тогда люди думают, что если поймут в чем дело, научатся по этой лестнице взбираться, понимаешь?

– Да, понимаю. Но почему я мелкий буржуа?

– Потому что ты еврей. Евреи все – мелкие буржуа.

Саул задумчиво смотрит на Отто. Рассказать ему? Да или нет? Лучше нет! Хотел поговорить с Отто о новых своих друзьях, но теперь он их стыдится. Отто не отнесется к ним с уважением. Нет, нет. Об этом лучше поговорить с Эльзой, она поймет.

– Какое чудное утро! – говорят женщины переулка.

Они стоят группами, и языки их пылают. Кто знает? Кто слышал? Кто видел? Руки их сопровождают жестами каждое слово.

– Храни нас Господь от этих! От каждой. Нет у них никакого понятия, только сплетничать по любому поводу и о любом человеке, – вздыхает Отто и становится у входа в переулок.

– Какое утро! Какое утро! – вздох исходит из глубины сердец. Дома, впитавшие плесень, выплескивают ее наружу. Лето! Люди гуляют в такой день по широким аллеям, вбирающим солнце, купаются в реках или отдыхают в лесах, наслаждаясь вкусом солнечного летнего дня. Здесь, в переулке, витает пыль, оседая на камни и лица, и над ними распростерта дразнящая синева, как открытое за решеткой окошко

в тюрьме.

Что за утро! Даже в подвал Эльзы прокрались лучи солнца. Эльза стоит перед зеркалом. На розовом ночном столике, на ящике которого нарисовано большое черное сердце, стоит горящий примус. Эльза нагревает на огне щипцы и проводит ими, горячими, по волосам, чтобы завились мелкими кудрями, как у барашков. Наискось от нее на кровати сидит мать Эльзы и громко пьет воду большими глотками. В руке ее большая чашка, на которой позолоченными буквами выведено – «Именем Бога и во имя кайзера и родины». Глоток – старухе, глоток большой кошке, прижавшейся к ней.

– Старуха, – не раз говорят ей люди переулка, – зачем тебе подкармливать это животное. У тебя что, хлеба вдоволь?

– Из зависти, – отвечает старуха.

– Зависти? – удивляются люди. – К кому?

– К Эльзе, мне ведь тоже нужен кто-то, кто согреет мою постель.

Саул сидит и смотрит на Эльзу и на букет восковых роз, стоящий на столе в вазе, обернутой зеленой бумагой.

– Такое утро, – говорит Эльза, – отлично для профессии, прополаскивающей кровь. Да ну ее к чертям, профессию! В такое утро, быть может, явится кто-то, мой, пригласит меня на площадь, где столько развлечений. Покатаемся на карусели, головокружение кружит и кровь.

Ой, Луиза, ой, Луиза,

К карусели ли придешь?
Это рай земной, Луиза,
И всего-то стоит грош!

– И я еду, Эльза, – говорит Саул и прерывает песенку, – с людьми, с которыми лишь вчера познакомился. Ах, какие люди! Был в настоящем дворце и видел там одну, прямо царскую дочь. Такая красивая. Сидела между цветов и ждала, чтобы явился царский сын. И дядя Филипп не отходил от нее все время.

– Фи-фи, – говорит Эльза, – фи-фи! – щипцы шипят, запах горелого разносится по комнате. – Не приходи ко мне с рассказами об этих царских дочерях. Отлично их знаю. Они скучны – до смерти. А сын твой царский, что ты думаешь, делает? К нам он приходит от большой скуки. Знаю я их, этих царских дочерей. Красивы, ухожены, мужья касаются их в шелковых перчатках, но уже назавтра они им надоедают. И тогда – привет, и в трактир!

Эльза в волнении швыряет щипцы и обращается к Саулу.

– А твой дядя Филипп расхаживает здесь по переулку, как святой, но он как все мужики, две у него невесты, одна в будни – для переулка, эта – стриженная, и другая – для субботы, там – во дворце. И что ты думаешь, он хочет от них обеих? То же самое. Так вот, и это все. Гора мусора весь этот мир. Знай, царская дочь и я – обе мы – жуки навозные, и это все.

Снова зло топает ногами. Мать ее равнодушно смотрит на

нее. Только кошка прыгает в испуге, и зеркало подрагивает.

– Эльза, – спрашивает Саул, почему все сердятся, когда я рассказываю о своих новых друзьях?

– Почему? А черт его знает, почему. Ты, зеленый юнец, что ты вообще понимаешь из того, что я тут сказала?

– Саул!

Господи! Голос матери Саула доносится со двора.

– Твоя старуха трубит снаружи, – с презрением роняет Эльза.

Саул начинает ерзать на стуле. Как выскочить из комнаты Эльзы? Семьюдесятью семью запретами закляла его мать – не разговаривать с Эльзой. «Ты из добропорядочной семьи», – вдалбливает она ему с утра до вечера.

– Саул! Ох, этот ребенок. Моя могила.

Слава Богу, убралась. Саул прокрался на улицу и входит в мясную лавку, руки в карманах, насвистывая, словно ничего не произошло.

– Негодяй! – Когда мать сердится, горы мяса начинают ходить как волны в ее теле. Саул ненавидит ее в такие минуты. – Где ты болтался, подлая твоя душа? – подбородок матери дрожит. – Десять часов, скоро пройдет утро, надо собрать чемодан, выкупаться, одеться, как положено, ты ведь из добропорядочной семьи.

Мать загоняет его в кухню, энергично окунает в таз с горячей водой, трет тело жесткой щеткой. Уши его пылают, мыло жжет глаза – ужас! Саул вырывается из железных рук

матери, как будто в него черт вселился. Саул кричит.

– Что случилось? – спрашивает госпожа Гольдшмит.

Но Саул замолкает. Мысль внезапно возникла в голове. Катастрофа, Боже! Ведь машина въедет в переулок и остановится у мясной лавки, и Отто, конечно же, все увидит. Что скажет! Какой стыд! Что ему мои новые друзья! Отто – человек отличный, умный. Только сяду в машину заколдованного дома, тотчас же скажет, что одни беды ждут Саула.

– Стоишь, как истукан! Размечтался. Ну! – мать готовит для него синие брюки. – Одни беды с тобой!

Половина двенадцатого. Дверная пружина мясной лавки издает звук. В лавке стоят Филипп и Белла, девушка лет двадцати, брюнетка, стриженная под мальчика. Она – член движения сионистской молодежи. Симпатичное, тощее существо, черные ее глаза задумчивы. Одета в форму движения: синяя юбка, большой подсумок, белая рубаха с закатанными рукавами. В руках у нее большая коричневая сумка. Бела – девушка активная, всегда в «центре событий».

– Какое чудное утро! Филипп и я не могли усидеть в конторе. Сбежали. Твое счастье, Саул, что можешь покинуть город, – и Белла подает ему большую плитку шоколада – на дорогу.

– Можно представиться, госпожа? – звуки голоса врываются даже в задние комнаты. – Меня зовут Гейнц Леви. Мы приехали забрать мальчика. Госпожа не должна беспокоиться ни о чем. Он будет в надежных руках.

Приехали. Выхода нет. Отто уже увидел машину. Все и так потеряно. Саул и дядя входят в лавку. Там стоят трое. Двое детей, которые выглядят здесь совсем не так, как там, в их доме. Наряжены, как павлины, в матросские костюмчики. На лицах их удивление и неловкость. Третий – Гейнц. Он кланяется госпоже Гольдшмит, словно принцессе, и она вся сияет, краснеет, взволнована, так что ее телеса колышутся волнами.

– Гейнц, где Эдит? Она ведь хотела ехать с вами? – спрашивает доктор Ласкер. Саул краснеет, он помнит слова Эльзы.

– Эдит! – Гейнц растерян. Доктор Ласкер замечает на лице его смятение.

– Скажи, Гейнц, почему Эдит не едет с вами?

«Эдит, верно… Где Эдит? – Гейнц действительно не видел ее утром. Может ли быть, что в такое чудесное утро она не вышла в сад? Закрылась в своей комнате? Даже не пришла сказать доброе утро детям. Он совсем ее забыл. Что это с ней произошло? Вчера он оставил ее с Эмилем Рифке. Эмиль забавный человек, но «типчик». А Эдит – существо нежное, мечтательное. Внезапно тревога вошла в сердце Гейнца: надо вернуться и справиться о ней. Но тут же он отбросил тревогу. Что вдруг? Ей не восемнадцать лет».

– Эдит? Не знаю… Почему не едет? Верно, устала. Да что я знаю? – отвечает торопливо Гейнц. – Дети, быстрей! Час поздний. Надо ехать.

Черный автомобиль набит всякими разными странными вещами. И Эсперанто прыгает на них истинным хозяином.

– Что за странный запах у этой улицы, – говорит Иоанна, – никогда она не чувствовала такого запаха.

Саул сгибается. Они проезжают мимо Отто. Тот уже явно обнаружил черный автомобиль. Тут же распространился слух по переулку, дед смертельно болен, вызвали ему известного врача. Знал бы Саул, что Отто нашел приемлемое объяснение, ехал бы на каникулы со спокойной и веселой душой.

Летний полдень. Жара в разгаре. Пешеходы изнывают, истекают потом. Город полон пыли, шума, духоты. На скамье сидят двое, парень и его девушка. Незнакомые, даже Отто их не знает. Хотели сбежать от пыли и нашли здесь зеленый уголок. Кажется, что они скрывают какую-то тайну. Может, тайну их любви? Время от времени глядят друг на друга и молчат. Может, хотят сказать друг другу сердечные слова, но жара обессиливает, и усталость не дает им открыть рта. Дрема летнего полдня. Отто закрывает свой киоск, бросает подозрительный взгляд на парочку незнакомцев, и утомленным голосом обращается к Мине:

– Пошли, куколка моя, домой.

В ближайшей церкви звонят колокола. Успокаивающие мягкие звуки растекаются над городом – но у кого есть силы прислушаться? Звуки поглощаются шумом большого города.

Черный автомобиль исчез за поворотом. Белла и доктор Ласкер тоже решают оставить город.

Они добрались до одного из лесов в окрестностях Берлина, сидят на берегу небольшого, но глубокого озера, воды которого прозрачны и зелены. Много лет назад здесь добывали известь. Поколения горняков трудились тут. Приходили и уходили, были молодыми и состарились. Долгая цепь тружеников не прерывалась ни на один день. Пока не поднялись подземные воды и ни затопили шахту. Зеленые, прозрачные воды впитали в себя пот многих поколений, и образовали тихое озеро. Воды его покрыты речными лилиями, белыми и алыми, словно бы просят природу погладить и смягчить место бывшей преисподней. На берегах озера растут деревья, чьи гривы расхристанны, поднялись дикие травы и цветы, летают птицы и гнездятся на ветвях деревьев.

– Какая красота, – говорит Белла, – и ни одной живой души, только мы. Тут мы останемся, Филипп.

Они стоят у платана. Ветви его толсты, низко опущены, образуют как бы естественное сидение для отдыха.

– Видишь, какое я нашла отличное место, – Белла раскачивается на одной из ветвей, – забирайся сюда и ты, Филипп.

«Что случилось с Эдит?» – Филипп прислонился к стволу дерева, на воде обозначена тень Беллы. Ногами она загребает воду, ударяя по плавучим водяным лилиям.

– Филипп! – тень тонет, и водяные лилии колышутся от частых ударов ног Беллы. – Стоишь среди этой красоты, как

будто все египетские казни свалились на тебя. Что за печальные мысли тебя посещают?

– Да.

– О ком ты думаешь?

– О тебе. Может, перестанешь уже размахивать ногами. Ты разбиваешь лилии, портишь пейзаж.

Белла смотрит на него с удивлением.

– Ты что, смотришь на мою тень?

– Да.

Белла понимает намек и замолкает.

«Что за глупости я говорю ей. Необходимо сдерживать свои эмоции. Даже страх этот задерживает дыхание. И она удивлена, почему я не могу развлечь ее сегодня. Сегодня нет. Если бы мог хотя бы изобразить на лице улыбку. Но и это не смогу. Я человек слабохарактерный. В броне логики и разума – и все – латка на латке. Что все же случилось с Эдит? Что-то из рук вон выходящее».

– Филипп, – раздается голос сзади, – есть что-то возбуждающее есть в кваканье лягушек в летний жаркий день. Однообразное кваканье рождает странное чувство, как некое интермеццо для покоя и отдыха в череде буден.

– Девочка! – Филипп оборачивается к ней. Белла лежит в траве, сбросив рубашку. Нагое ее тело открыто солнцу, обретает золотистый оттенок, и блестящие капельки пота покрывает его. Она симпатична, как бледнокожая ящерица, в которую солнце вливает дыхание жизни.

«Приблизиться к ней сегодня не могу. Сегодня нет. Или… все-таки да?» Потоки воздуха, как прикосновение солнца, касаются скрытых струн и сотрясают их. И этот золотой оттенок юного тела. «Чего я еще хочу. Не могу. И во имя ее. Все же надо выразить ей симпатию».

– Белла, – слышит он свой голос со стороны, – До чего ты притягательна. Но на меня напала какая-то сонливость. Не могу ее одолеть. Послеобеденная дремота. Дай мне немного времени, Белла. Подремлю и приду в надлежащий вид.

– Сон в летний полдень! – Белла смеется или насмехается, – ну, ясно. Привычка есть привычка. Вместо дивана – среди трав. И это принимается во внимание. Приятного сна и хороших сновидений!

«Да, дрема, сон. Я сказал ей правду. Погружение в дремоту, которая бывает перед большим внутренним взрывом. Что случилось с Эдит? Устала? Он бы не отменила поездку к любимому деду из-за усталости. Гейнц был явно смущен и пытался найти какое-то объяснение. Между нашей встречей с ней вчера и испуганным лицом Гейнца прошла всего одна ночь. Меня она отослала. Ждала кого-то. Несомненно, у нее кто-то, мне не знакомый. Кто? А если есть, что мне делать? Что за вопрос? Что, по сути, изменится? Много. Почему? Следует отрешиться от мечты. Был проблеск надежды. Больше этого не будет.

Нет. Эдит не только мечта. Может, и мечта, но она успела укорениться в самой сущности моей жизни. Что скрыто в

этой мечте? Радость, несущая отчаяние. Печаль, пробуждающая расслабленность, напряжение ожидания, слабые, слабее быть не может, ощущения радости. Движение жизни, охватывающее целиком душу! Любовь, вот что этим движет! Доктор Филипп Ласкер, что с ним происходит? Бедный. Он страдает от безответной любви.

До чего дошел? Овладевает мной чувство провала всей жизни. На основании чего? Эдит была мечтой моей юности, и я не смог от нее освободиться. Каждый юноша жаждет взойти на Хрустальные горы. И я жаждал. Но в жизни нет Хрустальных гор. Есть лишь печальная реальность. До чего жизнь становится пустой из-за неудачи в любви. Любовь лишь незначительная часть целой системы. Что же, искать верное соотношение между частью и целым? Поможет мне это? Да. Найди нечто реальное, дорогой, обычное! Обоснуйся на нем, и оно превратится в желаемое.

Ха-ха, слова живого бога! Теперь тебе стало легче? Жизненная философия вместо сущности жизни. Обелиск больному любовью. Нет, дорогой, доводы логики здесь не преуспеют. Это будет битва титанов. И нет никакой гарантии, что ты победишь.

Не могу. Не могу из-за внутренней слабости, лишающей меня всякого оружия защиты. Я болен любовью. Сияющий красотой день – встанет во всем своем великолепии. Будь мужчиной! Источник вырвался из твоей жизни, и его нельзя легко перекрыть. Но можно закрыть его тем камнем, кото-

рый надо, в конце концов, сбросить с души.

Ты хочешь отказаться? Нет, не хочу. Ни от неудовлетворенной страсти, ни от того скрытого тонкого трепета нервов, это счастье, нет ему замены. Чего стоит реальность без всего этого – всего лишь серая и крохотная, впадающая в ересь, Филипп? Любовь направляет твою жизнь? Где же хваленый твой разум, – разум адвоката?

Я остаюсь верным себе. Жизнь это действие, но, быть может, эта деятельность подвержена прорыву? Нет разума без эмоциональной основы. И нет иррациональности, которая бы не выросла из реальности настоящей жизни. Нет жизненной реальности без любви. И нет любви, которая не оборачивается настоящей, действенной силой жизни.

Ну, теперь вроде бы стал умнее? Белла. Почему я не думаю о Белле? Белла была всегда. Но и Эдит была всегда. Что же, я стоял между ними обеими? Нет. Никогда. Никогда не чувствовал, что любовь к Эдит приносит боль Белле. Они, как две параллельные линии, не встречающиеся ни в одном уголке моей души.

Не лукавишь ли ты перед собой, Филипп? Нет. Белла мой добрый товарищ. Хотел бы я быть без нее? Нет, нет! Может ли человек отказаться от хлеба? Она – не мечта. Не тянет любовной тоской к себе, но она возле меня, и это намного больше. Я люблю ее. Она – твердая почва, на которой прорастает эта жизнь. С Беллой нельзя взмывать в небо. Эдит! Бог мой, может ли человек подниматься ввысь, если из-под

ног его убирают твердь?

Ну, а теперь куда ты пришел, Филипп? К той же начальной точке. Взлетать ввысь. Вечная мечта юности. Хрустальные горы.

Нет, это не та начальная точка. Эдит и Белла – мечта и реальность. И они не сливаются. Ты ведь это знал всегда. Нет, дело в том, что они все же сливаются, дополняют друг друга. В чем тайна существования? Противоречия, противоположности, соединяющиеся в единое целое жизни, и кто преуспевает в этом? Я? Верно. Я должен преуспеть».

– Что с тобой, Филипп? Я вглядывалась в тебя. Ты ведь не дремал. Ты нырнул в тяжкие размышления. На лице твоем это было написано. – Белла рядом, черные глаза ее словно бы налиты тяжестью, напряжены, как перед плачем в еврейских народных песнях.

– Белла, – отвечает Филипп, – Белла, в стране Израиля мы вырастим поколение, как этот летний день. Светлые волосы, светлые глаза. Они будут юны, спокойны, безмятежны. Есть и такие евреи. Ты вглядывалась хотя бы раз в лица мадонн? Мы растим еврейских девушек, похожих на мадонн. Сотрем с их лиц любые тяжкие еврейские морщины.

Белла поднялась.

– Едем домой, Филипп, ты сегодня чужд мне. Я не понимаю тебя. Приближается вечер.

Филипп видит разочарование на лице Беллы, но ничем ей помочь не может. «Доедем до города, – думает он, – позвоню

Эдит. Должен я еще сегодня выяснить, может все подозрения, просто глупости, кошмарный сон в летний полдень».

* * *

Наступила ночь. Летняя ночь. Мгла простирается над тысячами зажженных фонарей. Город превращает тьму в свет, ночь – в день. Но в такую ночь люди ищут темные уголки, – на скамейках, между деревьями городских парков. Прячутся в стенах домов, в уголках коридоров. Иногда световая полоса автомобильной фары, проскользнув, обнаруживает скрывающуюся парочку, но это мимолетно, и они видят, оставаясь невидимыми. Ночь объемлет всех и вся. Тьма нашептывает. Обдает горячим дыханием.

«В такую ночь человек не может оставаться один», – размышляет Эдит. В саду розы раскрылись целиком. Запах роз острый и сладкий. Ночные бабочки летят к ним, присасываются к лепесткам, опьяненные запахом и тяжкой сладостью этой ночи. «Осталось еще десять минут. Я еще могу сообщить ему, чтобы не приходил. Но я хочу, чтобы он пришел. Вчера была точно такая ночь, как эта. И странно было, что как бы исчезли руки мясника, грубый голос, и хищный взгляд черных глаз. Все это вдруг оказалось неважным. Были мелодии, сопровождавшие пары, танцующие в красном свете. И было ощущение, что я внезапно проснулась как от летаргического сна. От чего это произошло? От вина, от ме-

лодий, от этого человека. Утром я увидела все это в ясном свете и просто отчаялась. А теперь хочу, чтобы он пришел».

В доме зазвонил телефон.

– Эдит! – в открытом окне возникла головка Эдит. – Доктор Ласкер звонит, срочно хочет поговорить с тобой.

– Филипп? Ни в коем случае! Не сейчас, Фрида, скажи, что я вышла из дома, и ты не знаешь, где я.

«Фрида солгала. Это понятно даже по телефону. Ну, Филипп, теперь ты знаешь». Доктор Ласкер выходит из телефонной будки на улицу, рассеченную полосами света от фонарей, и смешивается с фланирующими по улице прохожими, занятыми пустой болтовней. Молодежь, проходя мимо, взрывается гогочущим смехом, обволакивает всех сигаретным дымом, осмеивает и иронизирует. Иногда ухо улавливает счастливые звуки, долетающие издалека, как отзвуки смеха. Подобно шелесту, они просачиваются сквозь толпу фланеров и натыкаются на человека, одинокого среди толпы.

«Какая тяжкая, давящая ночь. Как я попал в это толпище? Квартира моя пуста. Только не быть в ней одному, полной судебных дел о разных бедах. И что мне вообще до бед других? У меня свои беды. Лучше уже смешаться с этими тысячами незнакомых людей. Кстати, я голоден. Есть тут кафе». Филипп открывает двери. Громкоговоритель буквально орет ему в лицо:

Да, да, вчера под вечер

Я целовал ей плечи.

Кафе набито битком. В углу сидят две дамы, можно к ним присоединиться.

– Не помешаю? Достопочтенные дамы, можно присесть?

Холодный взгляд и слабое подобие приязни.

«Пока подойдет официант, буду сидеть, как в гнезде скорпионов. Нет у меня терпения».

– Этот грязный еврей, – слышит он одну из дам, – не хочет ремонтировать квартиру, несмотря на то, что это положено нам давно.

Доктор Ласкер встает. Аппетит мгновенно улетучился. И снова он на улице.

«Что-то голова побаливает. Зайду купить лекарство». Напротив аптека. Филипп входит и выходит, на миг задерживается у витрины.

– Сладенький, почему ты один в такую ночь?

Женщина стоит рядом. Обтягивающее фигуру платье. Золотистого цвета распущенные волосы, глаза бесцветны и лишены выражения.

– Я плохо себя чувствую, дорогая. Поел испорченный суп. Весь этот город у меня в кишках, – отвечает ей Филипп, состроив приятное выражение лица, – еще найдешь этой ночью кого-нибудь, более здорового.

«И все же вопрос по делу: почему я один в эту ночь? Ну, хватит. Не хочу больше думать. Толпа пробуждает чувство

одиночества. Если пойду по боковой, темной улочке, доберусь до скамейки. Таблетки снотворного – в кармане, какой великолепный выход: заснуть и ничего не чувствовать. Так и сделаю. Ночь для того и создана, чтобы спать». Глубокая тьма царит на улочке, только мерцают вспышки сигарет, шепотки, и смех. Филипп спешит. «Я удираю от самого себя. Хорошо, что есть у меня снотворные таблетки. Завтра все взвешу. Но не сейчас. Все, что можно обдумать и взвесить в эту ночь, относит в сторону отчаяния».

– Филипп! – в коридоре его дома стоит Белла, – я давно уже жду тебя. Ты вел себя очень странно после полудня. Я не могла найти себе места. Что там было с тобой, Филипп?

– Белла! – Здесь, в темном коридоре перед взором Филиппа – ее оголенное тело в траве у озера, ослепительного от солнечного света. Теперь он чувствует запах соснового леса. – Как здорово, что я нашел тебя здесь, в моем доме. Я ощущаю его надежность благодаря тебе.

Света они не зажигают. Филипп открывает окно. Голоса врываются снаружи. Слышен дикий пьяный хохот, вопли женщин, ругательства и звон трамваев.

– Белла! – говорит Филипп с печальной улыбкой. – Опять нам наигрывает большой город. Мелодия не мягкая, но такова мелодия нашей жизни. Симфония жизни, в которой существуешь только ты. Тебе это недостаточно, Белла? Что было там? Когда человек мечтает взобраться на Хрустальные горы, завершается это полным провалом. Больше не спраши-

вай. Поверь мне, в этом нет никакой нужды.

Летний день завершился. Город постепенно успокаивается. Ночь уже обнимает новый день. Еще несколько часов, и город проснется навстречу новому гомону.

«Я успокоился», – говорит про себя Филипп, стоя перед открытым окном. Белла погружена в глубокий здоровый сон. «Буря улеглась. И за это я ей благодарен. Был бы я писателем, как бы я изобразил этот миг? Летний день прошел. До чего спокойна эта ночь. Это покой после бури и перед новой бурей. Что мне в этот миг до всего, что прошло надо мной. Жизнь спокойна и уравновешена, когда дано взирать на нее сверху. Завтра мне надо будет закрыть окно и спуститься в город. Снова начнется жизнь, на которую нет возможности глядеть со стороны. Завтра я должен позвонить в дом Леви. Справиться о здоровье Саула. Как прошла его поездка к дому деда. Может быть, и Эдит поехала туда. Встала с утра и сама поехала. А Фрида, может, и вправду не знает. И все это было игрой чувствительных нервов в летний соблазняющий жаркий день?

# Глава четвертая

Черный автомобиль проглатывал пространства. Города и местечки, шоссе и леса, усадьбы и села. И когда он добрался до маленького городка в Восточной Пруссии, где проживал дед, казалось, что автомобиль поглотил не только пространства, но и сотни лет исчезнувшего в прошлом календаря.

Древняя стена и две высоких башни, серые от многих лет, наводят страх на приезжих. Городок словно погружен в глубокий сон, но за занавесками торчат физиономии жителей, и черты их лиц подобны чертам рыцарей, вооруженных мечами и готовых каждый миг вскочить на коней и скакать навстречу чужеземцам, чтобы узнать, с какой целью они явились сюда.

Вот и городской рынок. В центре его – старый колодец. Три дерева, согнувшихся от старости, скрипят на ветру. Кажется, миг назад сидел здесь путник и вырезал на стволе одного из деревьев имя любимой, до того, как двинуться дальше в путь, и поприветствовал господина Пумпеля, который, несомненно, еще тогда, в те давние дни, стоял у своей лавки, продавая иголки, нитки и еще кое-какую мелочь. И точно, как сейчас, он посасывал трубку, и весь его облик как бы говорил – «я тут представитель Господа Бога, и если не сотворил небо и землю, этот городок, несомненно, я сотворил». И вправду трудно себе представить, что этот городок мог су-

ществовать хоть один день без Пумпеля, и вообще сможет когда-либо существовать.

Тут же полуразвалившийся, серый домик муниципалитета. Вход в него в высоте стерегут два Ангела, держащие в руках правила нравственного поведения жителей городка, начертанные кусочком корунда на вечные времена:

Храни непорочность и веру до самой могилы своей
И никогда не сбивайся с Божьих путей.

– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – Дед, домоправительница Агата, работник усадьбы лысый Руди приветствуют громкими голосами. Никто из них не интересуется чужим ребенком. Но все же его прижимает Агата к своей груди, которая, по словам Бумбы, сделана из мягких перьев.

– Добро пожаловать! – дед высок, худ, прям спиной. У него огромные пышные усы, походка марширующего на военном параде, а смех сотрясает стены и посуду на столе.

Дед – выходец из богатой купеческой семьи. Много поколений назад пришли его предки в Германию. Открыли в городке небольшую лавку вязаных изделий. Уже тогда, будучи из среды притесняемых, замкнутых в гетто ашкеназийских евреев, семья их пользовалась особыми привилегиями. Жили они в условиях свободы и покоя, сыновья получали образование, приобщались к новым идеям, быстро отошли от еврейских традиций, избрали образ жизни высшего герман-

ского общества, женились на немках, и даже черты лица у сыновей изменились – даже внешне они желали отрешиться от малейшего намека на еврейство: обернулись блондинами, светлоглазыми, рослыми.

Дед был строптивым в молодости. Принес много хлопот уважаемой семье. Даже внешне отличался от остальных сыновей. Рыжая его шевелюра была всегда растрепана, а с возрастом он украсил физиономию пышными усами огненного цвета, да еще несколькими шрамами от шпаги по обычаю университетских студентов тех дней.

Малые дети спать не дают, а большие дети жить не дают – с ними большие беды – вздыхала мать, глядя на этого сына. Он же ухитрялся время от времени занимать жителей городка своими шалостями, пока не совершил нечто, совсем из рук вон выходящее: был послан купить Тору в ближайший город, а занялся фланированием мимо окон некого института благородных девиц. С цветком в петлице, тростью в руке, огненными усами, подмигивал краснеющим девицам, украдкой выглядывающим из-за штор. Наконец пленил одну из них, но познакомиться было невозможно, ибо красавица была закрыта за крепким замком и стенами, неприступными, как старые девы.

Но дед – ого! Никогда не отказывался от того, чего страстно желал достичь. Подкрутил усы и поднялся в вагон поезда, в котором ехала на каникулы к родителям избранница его сердца. Родители ее были весьма зажиточными людьми. На

целый час уединился с ней дед, и это был большой скандал! Быстрый суд родителей с обеих сторон обязал их немедленно сыграть свадьбу, тем более что сватовство в те годы было делом привычным.

Но дед – ого! Дед хохотал, да так, что тряслись стены. Что это еще за разговоры? Что я такого ей сделал? Только узнал, что из-за штор она красивей.

Надо знать, что в те дни женщины начали ездить по улицам города на трехколесных велосипедах, разговоры о правах женщин носились в городской атмосфере. Дед, естественно, был мужественным борцом за эти новшества, а так как дело той девицы не давало ему покоя, завершил эту проблему одним махом, собрал свои пожитки и исчез на многие годы. Боясь гнева Божьего, члены семьи опустили головы. Но дед? О, дед! Он вернулся через годы в свою скорбящую семью, с цветком в петлице, покручивая усы и хохоча во весь голос, как будто ничего не случилось. Где он шатался все эти годы без гроша в кармане? Странствовал. В то время еще можно было переходить от одного ремесленника к другому, из города в город, ну, в общем, также от девушки к девушке. Дед изучил ремесла и зарабатывал трудом своих рук. С тех пор дед выработал свое определенное мнение о жизни. Тост его был таков:

– Сама реальность, друзья, сама жизнь, разве это не счастье?

Вернувшись в свою семью, он сумел навязать ей свою фи-

лософию жизни, получил наследство, открыл свое дело и решил построить дом. Короче, решил стать, как все нормальные люди. Семья выбрала ему именно такую жену, какая, по мнению членов семьи, могла вернуть его на путь истинный. Привезли ее из Южной Германии, из образованной семьи. Отец ее был профессором анатомии, и всю жизнь резал трупы. Он овдовел в молодости, и единственная дочь должна была заботиться о нем все годы. Жили они обособленно. Жалюзи их дома были всегда опущены. В доме стоял слабый трупный запах, который шел от одежды профессора.

Они были добрыми евреями, несмотря на то, что несколько усовершенствовали заповеди праотцев по своему пониманию, и к Богу пустыни, мстительному Богу воинств, присовокупили дух гуманизма, идеи совершенствования мира.

– Религия, – говорил профессор, морща лоб, это, в сущности, мораль, цель которой укротить человека. Вожделения его, – вот корень зла. Сдерживание чувств – главное! Это приведет к исправлению мира. Это и есть Мессия, который должен явиться в будущем. Человек, которым управляют страсти, подобен животному. Может ли животное управлять миром? Надо уметь обуздать свои страсти, только так человек станет человеком.

В этом духе воспитывалась бабушка, всегда окруженная книгами и произведениями искусства. Она играла на фортепьяно. Вела аскетический образ жизни по заветам отца, никогда не повышала голоса. В Бога верила всем сердцем. Ре-

лигия была нирваной в ее, можно сказать, одноцветном существовании. В нем можно было освободить вздох, скрытый в сердце, и запретную надежду, связанную узами воображения. Все шесть дней Творения стыли в сумрачных комнатах дома. Только в день Шестой, в пятницу, поднимались жалюзи, открывались окна. С раннего утра приходили служанки убирать и все начищать до блеска к субботе. Из кухни доносились запахи кушаний, наполняя ароматом весь дом. В столовой бабушка ставила белую посуду на стол, заставляла все углы цветами и наряжалась сама. В субботний вечер профессор приводил гостей, холостяков или вдовцов, как он сам. И бабушка зажигала свечи и молилась, а профессор благословил вино. И так начинались беседы о религиозных заповедях. Гости были все мужчины, и бабушка единственной среди них женщиной. И все уделяли ей внимание, и даже отпускали комплименты в ее адрес. Бабушка не была красивой, черты лица ее были хмуры, глаза холодны, и вся она была как бы зажата в себе. Была ревностной чистюлей, ходила, шурша шелковыми платьями. Деду она понравилась, хотя и с некоторыми оговорками.

«У нее лицо, – думал про себя дед, – словно она все дни жизни пробовала только кислые лимоны. Не понимала, очевидно, что жизнь подобна сочному яблоку. И я намерен вгрызться в него всеми зубами».

Но дед ошибся. Бабушка не согласилась вгрызаться всеми зубами, она привычна была лишь пробовать. И женитьба по-

лучилась не очень удачной. И тогда они переехали в столицу. Дом был просторным и светлым. И громкий смех деда разносился эхом между стенами, и натыкался всегда на бабушку, которая ходила среди комнат – выпрямившись, серьезная, шуршащая шелковым платьем. И дед постоянно спрашивал себя «что мне делать с этой женщиной, прямолинейной и педантичной до скуки?» И бабушка тоже не знала, что ей делать со своим диким, взбалмошным мужем. Дед решил стараться не слишком с ней сталкиваться в разговорах, и так продолжал свою жизнь добродушного мота, хохочущего, побеждающего и весьма успешного в бизнесе.

Дед не пошел путями праотцев. Открыл дело, основал металлургическую фабрику. Вагоны привозили сырье из шахт для доменных печей фабрики. Тут резали раскаленное добела железо, вновь плавили, и изготовляли из него различные детали. Германия тогда вооружалась, готовясь к Первой мировой войне, и работы на фабрике было невпроворот. Дед, быстрый и смекалистый, знал, как экономически организовывать работу. Это был его мир. Его царство. Тут он развернулся во всю силу! Тут он ощущал пульс жизни, между пылающими печами и кувалдами. Тут он стоял между рабочими с почерневшими лицами, покрасневшими глазами, и всегда был с цветком в лацкане пиджака, подкрученными усами, зная в лицо и по имени каждого рабочего, готовый пожать руку каждому, без всякой разницы в чине и или сословности. Дед был большим патриотом Германии. Почему

бы нет? Дела процветали благодаря кайзеру Вильгельму, чей портрет висел везде, в залах фабрик и в конторах. Но дед знал и понимал душу рабочего. В те дни большинство рабочих было членами социал-демократической партии, и деду это вовсе не мешало.

– Наоборот, почему бы нет? – говорил дед. – Был бы я рабочим, тоже вступил бы в эту партию. У каждого – своя правда.

Когда рабочие объявили забастовку в связи с повышением цен на пиво, дед их поддержал. Это случилось Первого мая. Рабочие собрались на митинг в сосновой роще, пригороде Берлина. Там был трактир, хозяин которого поднял цены на пиво накануне праздника, с двенадцати пфеннигов на тринадцать. Рабочие восстали и объявили забастовку.

– Первого мая никто из сознательных рабочих не будет пить пиво!

Партия повела переговоры, пришла к компромиссу и тем спасла праздник. Хотя бокал пива и будет стоить тринадцать пфеннигов, но два бокала – только двадцать пять пфеннигов. Компромисс был принят. В день праздника рабочие пили много пива. И каждый второй бокал сопровождался ощущением великой победы.

– Это я понимаю! – сказал дед, услышав об этом деле. – Это я понимаю. Партия в порядке!

Так дед проводил шесть дней недели: в поездках, суете, в делах по горло, но в субботний вечер возвращался домой.

Бабушка зажигала свечи, празднично одевала двух маленьких сыновей, готовила в изобилии вкусные кушанья, и когда она простирала ладони над свечами, лицо ее было мягким, щеки становились пунцовыми в колышущемся пламени свечей, и глаза становились мечтательными. Такой она нравилась деду. Он даже умерял громкость голоса, говорил с мягкостью, и был мужем, как все мужья, и отцом, как все отцы. Когда он был сыт, и сердце его было смягчено субботним вином, садился он в кресло-качалку, сажал на колени своих двух сыновей и рассказывал им сказки и истории, какие лишь он умел рассказывать. Обычно он не очень ласкал и баловал малышей. Они воспитывались в духе матери, и по его мнению, были слабыми и бледными, и не вызывали в нем большого интереса.

– Почему? – спрашивал он. – Почему они не шалят, не буйствуют, не ходят грязными, как это бывает у детей! Почему они всегда чистенькие, аккуратно одетые, и лица у них святые, словно только их вынули из вод после крещения? Материнская кровь!

И это был жесткий приговор, но в субботние вечера все выглядело по-иному. Бабушка наигрывала на фортепьяно субботние песнопения, и умела их петь на священном древнееврейском языке, и голос у нее был очень приятным. Сыновья тоже выучили эти песнопения и подпевали матери. А дед? Дед слушал и таял от удовольствия.

Он также любил отмечать в лоне семьи праздники Изра-

иля. Во время главных праздников он оставлял фабрику на несколько часов. И вместе со всей семьей ехал на карете в синагогу. Свою взлохмаченную шевелюру он прятал под цилиндр, в руках держал трость с серебряным набалдашником. Кони были белые, кучер одет в форму, жена в праздничных одеждах, и строгое выражение ее лица было к месту, дети светились чистотой, – в общем, семья, вызывающая уважение. «Х-ммм…», – дед напевал в усы, демонстрируя окружающим, кто он.

Ехали они в синагогу, где можно было разговаривать с Богом евреев на немецком языке. Молитвы были написаны на иврите и немецком. На амвоне властвовал кантор, мелодии молитв были приятными для слуха, и дед был погружен в атмосферу праздника. И когда кагал запевал «Аллилуйю» – «Хвалите Бога», – дед подпевал всем сердцем. В завершение читал с большим прилежанием молитву за здравие кайзера, которая была отпечатана в конце молитвенника на немецком языке. Он был очень доволен собой и тем уважением, которым его окружали. В завершение давал щедрые чаевые служке, который кружился вокруг него, садился в карету вместе с семьей, просветленной и очищенной праздником, и умиротворенно ехал по широкой липовой аллее, кланяясь налево и направо, радуясь праздникам Израиля.

Так текли дни жизни, так шли годы. Так состарилась бабушка, выросли сыновья. И только дед остался дедом, шагая по жизни смеющимся победителем. Кто мог устоять перед

такой все пробивающей силой жизни? Дети пошли своей дорогой. Они любили мать и краснели при виде шумного показного жизнелюбия отца. Они вели себя сдержанно, больше всего любили чтение книг. Первенец подался в город, где родилась мать, осел там, стал исследователем древних языков. Не женился, был чужд жизни и странен в поведении. Второй же сын все же унаследовал в определенной степени характер отца, – но даже этого малого было достаточно, чтобы весьма удивить семью. Он пошел служить в армию, был послан в городок на восточной границе Германии и вернулся оттуда семейным. Кто его жена? Из какой она семьи? Невозможно было от него добиться ответа. Слухи ширились и расцветали. Приданого она не принесла, родители ее даже не приехали познакомиться. Бабушка умоляла: «Говори! Кто? Что?» А ему, сыну, просто наплевать. Стоит на стороне жены, и не дает никому ей докучать. Она была невысокого роста, нежная обликом, черноволосая красавица, производила впечатление добропорядочной женщины, воспитанной и приятной в обращении. Но глаза ее были необыкновенными, явно изменяющими воспитанному и располагающему к симпатии облику. Они были черными, поражали блеском. Из-за них бабушка ей никогда не верила. И хорошо, что приказала долго жить сразу же после свадьбы – много страданий испытала она от своей неприкаянной невесты.

Но именно из-за глаз ее полюбил дед. «Эта», он понял сразу, «моей крови!» Одного не мог понять – как может такая

прекрасная женщина пойти за его сына? Дед купил и преподнес ей в подарок эту усадьбу в Восточной Пруссии, окруженную темными лесами.

– Здесь, – сказал ей, – ты сможешь жить по своему усмотрению, отдыхать от цивилизации, которую тебе навязывает мой сын.

Они понимали друга, дед и эта молодая женщина. В конце концов, дед нашел принцессу своего сердца. Покручивал усы, которые изрядно поседели, разглядывал свою поседевшую взлохмаченную шевелюру, и глубоко вздыхал.

Молодая пара переехала в дом деда, обширный и роскошный, в столицу Германии. Сын взял на себя дело отца. Дед же оставил дела и переехал жить в усадьбу, охранял молодую жену сына, которая, насколько могла, проводила время в усадьбе, в обществе деда, скакала на лошади со смехом и весельем. Тут же росли дети, проводя время больше с дедом, чем с родителями. То, что он не додал детям, он дал внукам. Они были ему по вкусу – такие же буйные неутомимые выдумщики, как он в молодости. И дед с удовольствием понимал и принимал их шалости.

– Моей крови, – любил он повторять, – в них очень мало от моего сына – один уксус. Но дед был неправ. Дети его были плодом большой любви. И надо отдать должное господину Леви, – он был образцовым мужем. Не только любил жену, но старался понимать ее наклонности и желание ее жить по своему усмотрению. Ибо эта маленькая нежная женщина

была в высшей степени независимой. К удивлению окружающих, она хотела иметь много детей. И господин Леви, как говорится, пошел ей навстречу. Он не очень-то жаловал детей. В центре его жизни была эта маленькая нежная женщина. Облик ее возносился любовью и преклонением этих двух мужчин. И она была счастливой женщиной, окруженной любовью мужа и деда, перед ней преклонялись все окружающие.

Тут, в усадьбе деда, она и умерла. Как возникла неожиданно в семье, так же внезапно исчезла. Ощутила сильную головную боль, погасли глаза, и пока привели врача, ушла из жизни. Похоронили в усадебном саду, на месте, где она любила сиживать, среди кустов сирени и зарослей трав и растений. На могиле дед поставил простой белый мраморный памятник.

У господина Леви случилось как бы помешательство. На целый год исчез с глаз детей. Они перешли жить на усадьбу деда, и он был им как отец и мать, как приятель и друг. Через год отец вернулся, необычно серьезный и усталый, словно после больших усилий. Поспешил к могиле жены и тотчас решил упорядочить заросли, окружающие могильный камень, но отец не дал ему это сделать.

– Уходи! – загремел, как умеет греметь голосом дед. – Уходи! Она любила дикость, грозу, неупорядоченную жизнь. Она не терпела прямой линии, тропинки, сужающей горизонт. Умела, как и я, открывать прямое в кривизне, и кривое

в прямом. Да что ты в этом понимаешь? В буре она находила покой, и покой порождал бурю ее духа. Не прикасайся к этому уголку, который она очень любила именно за его дикость и эти заросли, скрывающие его.

Господин Леви отступил, зная, что на этот раз дед прав.

* * *

– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – Гейнц зашел в дом под руку с Агатой. Пес Эсперанто бежал за ними. От Агаты шел запах свиного жира. Дед обнял Саула и Иоанну, подтолкнул и вошел с ними в дом.

– Кушать, детки, кушать!

А Бумба? Бумба – на закорках лысого Руди. Только Руди знает этот фокус: берет по чемодану в обе руки, а на плечи водружает Бумбу: ноги вперед, голова назад, и рот разинут в хохоте.

Летние каникулы начались.

> «Дяде Филиппу много здравия!
>
> Я здоров. Здесь все красиво. Усадьба и лес, дед, Агата и лысый Руди.
>
> Дед этот вовсе не старик. Он скачет на лошади и плавает в речке. Он также откармливает гусей, потому что хочет получить премию на празднике охотников за самого жирного гуся. Для этого он держит гусей в клетках и силой впихивает им глотки разные жирные

галушки. Гуси задыхаются и умирают. И тогда Агата их жарит. Она стоит у плиты каждый день, варит и печет, и можно есть целый день. Но невозможно столько съесть. У нее много сковородок и кастрюль, и все они стоят на плите. Только лысый Руди все время спит и ест, несмотря на то, что у него во рту три зуба, и те черные и шатаются. Он должен следить за всей живностью усадьбы, но он этого не делает, потому что много спит. И вся живность кричит, и Агата ругается с Руди, обзывая его «собачьей мордой», а он отвечает – тихо, главное, сохранять нервы.

Здесь все красиво, дядя Филипп. Только две вещи очень мешают: свиньи и Иоанна. Свиней можно остерегаться. От Иоанны остеречься невозможно. Свиньи здесь крутятся везде. Поросят Агата загоняет в кухню. Я ведь еврейский мальчик, и мне запрещено смотреть на свиней, поэтому я закрываю глаза и смотрю в сторону при их виде. А вот Иоанна – просто беда. Дед называет ее черной крысой, потому что у нее глаза и язычок, которые все выгрызают. Но дед ее все же любит, а я – нет, она доводит меня своими вопросами каждый день. Почему ты не ешь свиное мясо? Что это такое – быть евреем? Откуда ты знаешь, что есть Бог? И на каждый ответ у нее есть тысяча новых вопросов. Я убегаю от нее каждый день, но она преследует меня, чтобы снова и снова задавать вопросы. И если она не прекратит это, дядя Филипп, я дам ей в зубы или вернусь домой. Дядя Филипп, я хочу, чтобы вы мне написали, есть ли Бог или нет? Вы можете

также спросить об этом Отто, ибо он мудрый человек. Хочу завершить письмо, потому что поздно. Я пишу у Агаты в кухне, ибо сегодня суббота, и я ждал, пока звезды зажгутся на небе, чтобы сесть за письмо. Завтра тяжелый день. Я боюсь, что завтра, в воскресенье, все поедут в церковь. Дед хочет встретиться там с друзьями, и я вынужден ехать с ними, потому что не хочу оставаться один в усадьбе. Теперь я кончаю и иду спать. Мы спим все вместе – я, Бумба и Иоанна на двух больших деревянных кроватях, сдвинутых друг к другу. Вчера мы хотели, чтобы Иоанна рассказала нам сказку, она это умеет. Так она потребовала, чтобы я сошел с кровати и завыл, как привидение, только тогда она что-то сочинит. И я выл, пока не заболело горло, и, в общем, зря, потому что она сочинила рассказ о волшебнице, которая превращала людей в свиней. И это меня страшно рассердило, и говорю тебе, что в следующий раз побью ее. А теперь много приветов всем.

Главным образом, привет Отто,
сын вашей сестры, Саул».

– Иисусе Христе и святая Дева, чтобы черт его побрал! Недостаточно того, что битый час била ему в дверь, разбудить его, чтобы не опоздал в церковь, а теперь блеет несчастная коза так, что сердце разрывается, а эта собачья морда спит. И явно не на кровати, там бы я ему переломала все кости. Иисусе и святая Дева! Кто мне поможет? Скоро придут гости, но ничего еще не готово.

Агата перевесила ковер из гостиной через подоконник, и

стала обеими руками всей силой выбивать из него пыль. Тяжело клубящееся, как бы сердитое, подобно лицу Агаты, облако пыли уплывало и возвращалось в открытое окно кухни.

– Иисусе Христе, легче сжечь этот дом, чем почистить. Дети, сделайте доброе дело для вашей старой Агаты, найдите Руди. Ведь гости уже в пути, и барон, как всегда, первый, черт бы его побрал!

– Руди, коза блеет! Руди! Куры кудахчут на цветочных грядках. Руди! Свиньи, две коровы и гуси копошатся в навозной луже посреди двора, которая по инициативе Руди никогда не просыхает. Агата в доме, трое детей во дворе – все кричат: Руди! И дед, что только проснулся от послеобеденного сна после посещения церкви, и уже повязал галстук и воткнул цветок в петлицу.

– Руди! Вот-вот, гости прибудут. Надо спуститься в подвал и принести вино и пиво. Руди! Гости, Руди! Гости.

> «Дяде Филиппу с наилучшими пожеланиями!
>
> Вообще-то, я уже закончил письмо. Но опять начинаю. Сегодня здесь произошло столько событий, что обязан тебе рассказать. Была уйма гостей и они, в конце концов, уехали. Все пошли спать. Только Руди сидит со мной на кухне и пьет чай. Чашку за чашкой. Утром все мы посетили церковь. Ехали на черной блестящей карете, но одна из лошадей по кличке Вотан немного хромает. В карете сидели Руди, Агата и дед, а на запятках – Бумба, Иоанна и я. Дед нарядился, надел на голову цилиндр, в руке держал трость с

серебряным набалдашником. Все началось хорошо. Иоанна молчала. Множество телег катилось в сторону города. Телеги были разные, некоторые сделанные из лестниц. Также скакали всадники. В телегах сидели работницы со всех усадеб, и ветер вздымал их юбки каждый раз, телега их проезжала мимо. И тут встал Руди, начал размахивать кнутом, зацокал, сунул два пальца в рот и засвистел. Тут Агата рассердилась: «Эта собачья морда просыпается лишь тогда, когда видит исподнее девицы». И тут Иоанна снова начала говорить о Боге и евреях. И дед сказал нечто, что совсем сбило меня с толку. И теперь я спрашиваю тебя, дядя Филипп, верно ли это? Ответь мне, как можно быстрее. Дед говорит, что евреи, это племя, как, например, племя индейцев или негров. И у каждого племени есть свои символы, знак племени. У евреев – два символа – Бог и семья. Бог – это не так уже страшно. Он высоко в небе, и с ним нет многих дел. А вот, семья – это хуже, потому что она земле, и повелевает людьми со всех сторон, и от нее никуда не даться. Это все, что я помню из его слов, но и это я не понял. И вообще, дядя Филипп, с тех пор, как я не дома, я сбит с толку и ничего не понимаю.

А потом, в церкви, мы стояли все вместе. Все было наоборот. Мужчины стояли вместе с женщинами, и вместо того, чтобы покрыть голову, ее обнажают. И я стоял за спиной деда, чтобы ничего не видеть. Я также заткнул уши, чтобы ничего не слышать. И про себя повторял все время: противно, омерзительно. Так я решил. И все же видел и слышал многое, и это большой

грех. Что теперь делать, дядя Филипп? Я слышал орган. И страшно, что это мелодия еще сейчас звучит в моих ушах. И также видел Христа, распятого на кресте, и лицо его такое несчастное. И тут еще Иоанна сказала, что мы его распяли и что это ужасно нехороший поступок. Скажи мне, дядя Филипп, это правда? Или она опять болтает пустое, эта глупая девочка. Все там знают деда. И все, кто пожимал ему руку, приглашал его на обед в свою усадьбу».

– Что ты там все пишешь и пишешь? – Руди наливает себе еще чашку чая, – тоже хочешь пить?

– Не хочу. Я пишу письмо своему дяде?

– О чем можно столько писать? Иди спать.

– Я люблю писать. Руди, когда вырасту, я хочу стать писателем.

– Глупости. Тоже мне профессия, тоже мне заработок.

– Почему?

– Потому что обо всем уже написано. Я не терплю этих писак.

– Руди, ты же вообще не читаешь? Что же ты делаешь, когда нет у тебя никаких дел?

– Когда я был молодым, читал много. С тех пор не написали таких книг, которые я читал. Например: «Испанская принцесса» – чудесная книга! Я помню ее наизусть. Как одинокий рыцарь скакал через лес. Была глубокая тьма. Глаза его не различали даже собственной руки, только слышал крики филина. И вдруг, ты слышишь, Саул, вдруг поднял

глаза и увидел красавицу монахиню в окне монастыря, и полный месяц освещал ее прекрасное лицо.

– Руди, как это может быть – глубокая тьма и полный месяц?

– Дурачок! Это же было не у нас, а в другой стране. Там другие обычаи. И потом, – это же в книге! Ты ничего не знаешь. Пиши, пиши, ты еще мал. Что ты понимаешь в этих книгах.

> «Я прервал письмо, потому что был у меня разговор с лысым Руди, дядя Филипп. Теперь я продолжаю. После полудня наехало сюда множество людей. Полгорода, я думаю. И опять все было наоборот. В церкви все были вместе, а на усадьбе женщины сидели с Агатой в гостиной, ели пироги, пили кофе и вязали носки. Мужчины сидели с дедом в большой беседке, и Руди подносил им пиво, вино и баранки. И там был барон, настоящий барон! Аристократ, хозяин большой усадьбы. У него такие же огромные усы, как у деда, но лицо было иное, лицо человека, все время стоящего по команде «смирно». У деда же лицо, все время стоящего «вольно». Но они все время похлопывали друг друга по плечу, и это всех очень радовало. Я и представить себе не мог, что закончится это очень печально. Об этом я напишу позже. Дядя Филипп, приехало много детей, и мы пошли играть, и было очень весело. Была там девочка по имени Тонхен, намного красивее Иоанны. У нее светлые кудри и голубые глаза. Она сказала мне, что мать ее говорит, что она выглядит точно так, как символ

Германии, чистокровная раса. Потому в будущем она должна выйти замуж за германского аристократа, это ей предназначено. А я ответил ей, что рабочие изгнали из Германии всех аристократов, так мне сказал Отто, и она не сможет выйти замуж за аристократа. Тонхен сильно рассердилась, и сказала, чтобы я закрыл рот, а если нет, она позовет всю ватагу, и они сделают из меня маринованную селедку. И если к власти придет Адольф Гитлер, он вернет всех аристократов, и она тогда найдет себе жениха. Но я был тоже сердит, вернулся к взрослым, и там случилось что-то ужасно странное. Там было много дыма. И я думаю, что он исходил не от сигарет, а из ртов мужчин: они все кричали. Издавали всяческие звуки как свистки паровоза, а в центре стояли дед и барон. Нос барона был багровым, а усы торчали, как иглы у ежа, также и брови. Он был настолько сердит и зол, что я подумал, еще миг, и он закричит: смирно! И вся встанут по стойке смирно. Но он только кричал: кровь должна пролиться! Кровь! И виноваты евреи! – обратился к деду и добавил: но если бы все евреи были такими, как ты, – и хотел притронуться к плечу деда. Но тут дед повел себя тоже странно. Усы его тоже стали топорщиться, и лицо его тоже обрело выражение, как при стойке смирно, и он закричал своим громким голосом – «Бревно! Что бы ты, и все тупицы, подобные тебе, делали без евреев! Давно бы все питались пылью и прахом, и это было добрым делом для всех. Затем дед обратился к Руди и сказал: «Руди, приведи лошадей этому почтенному господину. Я не

потерплю в своем доме человека, оскорбляющего людей моего завета. Затем дед обратился к остальным и снова закричал – «И кто думает, как он, может убираться за ним восвояси». И тогда Руди провел барона к его карете, а все остальные остались пить пиво и есть баранки».

– Пишет и пишет. Ступай в постель. Я, например, это сейчас сделаю. Доброй ночи, Саул.

– Доброй ночи, Руди.

– Саул! Господи Боже! – Иоанна стоит в кухне в белой ночной сорочке.

– Саул, что ты здесь делаешь? Я не могла уснуть. Хотела увидеть, где ты.

– М-ммм.

– Ты пишешь?

– М-ммм.

– Письмо твоей маме?

– М-ммм.

– Саул, ты любишь свою маму?

– Нет, я ее ненавижу.

– Как это? Я очень люблю свою маму, и хотела бы знать, как это, когда мама обнимает и целует.

– Не стоит это знать. Материнские поцелуи всегда пахнут луком.

– Какое это имеет значение, мама есть мама! Слушай! – Иоанна кладет на стол небольшую коричневую шарманку. – Мама подарила мне ее за несколько дней до своей смерти.

Слушай, Саул.

Тонкий и чистый голос поет колыбельную песенку Брамса.

– Ты слышишь, Саул. Это голос моей матери. – Глаза Иоанны широко раскрыты, и в них такая печаль.

– Хм-м. Не будь печальной, Иоанна. Нет особых материнских благословений. А пишу я не матери, а дяде Филиппу. Погоди немного, закончу письмо и поднимусь с тобой – спать.

> «Дядя Филипп!
>
> Я хочу скорее завершить письмо, ибо неожиданно вошла Иоанна, и она очень взволнована: скучает по матери, которая ушла из жизни, как ты это знаешь. И я сказал ей, что закончу письмо, и мы вместе поднимемся в спальню. Я помирился с ней, дядя Филипп. Хотел тебе только рассказать, что когда барон уехал, я пошел за Руди, и он сказал, что такое происходит каждую неделю. Каждый раз дед вышвыривает пьяного барона. Но тот смиряется, ибо нуждается в деньгах деда. Дядя Филипп, я сбит с толку всем, что здесь происходит, от всего, что вижу здесь и слышу. Я скучаю по скамейке и по Отто. Его я всегда понимал, и все мне было ясно. Несмотря на то, что здесь так красиво, я хочу вернуться.
>
> Многих благословений, особенно – Отто.
>
> Сын твоей сестры, Саул».

В один ясный день грянула телеграмма. Был это обычный день среди таких же дней. И никто представить не мог, что

произойдет нечто необычное.

Начался летний день, зрелый, насыщенный изобилием. Земля была подобно кормящей матери, и люди приникали к ее обильной груди, жадные до ее насыщающего молока, до обилия ее плодов, до ее красок и оттенков, воспламеняющихся и воспламеняющих, до ее нив, с которых уже скошены колосья и собраны в снопы.

И в такой день, обычный среди обычных, сидит утром Иоанна во дворе, в тени деревьев. Сидит в компании свиней, и, как обычно, читает книгу, морща лоб, словно сто лет прошли над нею. Дед пытается закармливать гусей. Саул и Бумба развлекаются тем, что перекатывают железный обруч друг другу. Агата стоит у окна кухни, ощипывает курицу, и, как обычно, это действие – резни и ощипывания – совершается в ее руках проворно и плодотворно. И звуки песни о разбойнике у пруда, отнимающего несчастную жизнь у девушки, сопровождают летящие перья. И Руди, как обычно, набивает желудок и никак не может насытиться. И даже ревматизм, который мучает его правую ногу, и обычно является проверенным знаком близящейся бури и непорядка, сегодня его не доводит.

И внезапно – как гром среди ясного дня – возникает катящий на велосипеде почтальон в своей синей форменной одежде, и в руках у него трепещет, как рыба, – телеграмма.

– Телеграмма! – все окружают деда. Он вытирает руки о синий передник, который, по указанию Агаты, предназначен

для кормления гусей, и, не суетясь, открывает телеграмму.

– Это от отца вашего, дети. Завтра он приезжает. А послезавтра вы возвращаетесь домой. Завтра годовщина смерти вашей матери. Годы бегут…

И дед неожиданно опускает руки, нагибает голову, невидяще смотрит куда-то вдаль.

– Да, да, торопятся годы. Завтра годовщина смерти вашей матери…

– Господин Леви приедет? Иисусе Христе и Святая Дева! Руди! Надо поискать скульптуры на чердаке, и эту картину с голой женщиной, да будет проклято ее имя. Надо ее снести с чердака. А Святую Женевьеву надо закутать в простыню и поднять на чердак. Если этот осел, сын осла, успеет это сделать, я проглочу аршин – и Агата падает на стул в кухне и вздыхает.

– Руди! Первым делом, скульптуры! Ты слышишь? Ох, эти статуи, Иисусе Христе!

Когда Агата пришла служить в этот дом, он был полон скульптур. Улыбающаяся Диана, Анакреон – поэт вина и любви, Амур, обнимающий Психею на глазах у Агаты. Ей стало тошно.

– Она или я! – сообщила она тут же деду. – Я не язычница, У меня душа верующей христианки.

Дед вздохнул, и скульптуры были отправлены на чердак. Вместе с ними туда же была изгнана картина Тициана «Венера», которая висела в столовой.

– Быть так, совсем обнаженной при свете дня! – Агата покраснела.

Дед пытался остановить изгнание Венеры и рассказал Агате, какой это великий художник – Тициан.

– Глупости, – прервала его Агата, – такая есть и у нас в городке.

Пошла Агата и купила картину Святой Женевьевы, в длинном, до пят, одеянии. Но что господин Леви понимает в Женевьевах и во всех тех красивых изречениях, которые Агата выткала красными буквами на желтой ткани и повесила их в доме, как, например: «У относящегося к копейке свысока – радость невелика». И еще разные другие сентенции. Но у господина Леви другой вкус, отличающийся от вкуса Агаты. Скульптуры спустили с чердака, и «Венера», пропади она пропадом, опять красуется в столовой во всей своей наготе, лишенная всякого стыда, и служанки тщательно убирают дом к приезду господина Леви.

Все сразу же изменилось. Даже Руди превратился в Геркулеса и пошел, согласно мифу, вычищать конюшню. Песком засыпали навозную лужу во дворе. Свиней убрали в загон, кур – в курятник. Рабочий вилами сгребает листья с тропинок в саду. Вид усадьбы абсолютно преобразился, и веселые лица становятся серьезными. И когда ты прогуливаешься по двору, посыпанному гравием, кажется, вся усадьба скрежещет зубами. Детей охватывает печаль. Саул ничего не понимает в этом внезапном преображении, и даже Иоанна захло-

пывает книгу, и говорит придушенным голосом:

– Отец приедет. Вечером всех ждет горячая ванна. Завтра прощаемся с дедом. Отец – та еще колючка. Колючка из колючек.

Саул тут же прячется за вазон, в тень растения с широкими листьями, стоящего на деревянной свае в прихожей. Впервые он чувствует себя чужим в этом доме. Как человек, просящий свободного доступа в запрещенный ему мир. Всевышний Боже, как все изменилось! Агата, волосы завивкой, в голубом шелковом платье, вся светится, передник сверкает белизной, устремляет острый взгляд на Бумбу и Иоанну: только сохраняйте чистоту, не пачкайтесь! А Иоанна и Бумба? Их не узнать. Тоже светятся чистотой. И даже дед повязал галстук на новую рубаху, и нарядился в костюм, который Агата отглаживала не менее часа.

Дед и господин Леви стоят друг против друга.

– Как здоровье? – спрашивает дед. – Что говорят эти твои сапожники в Давосе?

– Более, или менее, здоровье нормальное, отец.

«Странно, – думает про себя Саул. Кто-то зовет такого деда отцом. И такой серьезный на вид человек, у которого седина покрыла виски. И ходит он, выпрямив спину, одет с иголочки с ног до головы, что не дает ему даже слегка наклониться. А выражение его лица говорит: лучше ко мне не приближаться.

– Как ваши дела, дети?

– В порядке, спасибо, папа, большое спасибо.

– Госпожа Агата, у вас тоже все в порядке?

– Премного благодарна, уважаемый господин Леви.

Саулу кажется, что даже голоса всех изменились и слегка охрипли.

И тут – как это случилось? У сваи под вазоном, очевидно, ножка оказалась слаба – и вазон, скрывавший Саула, упал на землю с большим шумом.

Мальчик готов превратиться в муху и исчезнуть в замочную скважину навечно. Глаза удивленно устремляются на него.

– Кто этот мальчик?

И тут – чудо из чудес! Встает перед ним Иоанна, та самая, с которой Саул вел войну все лето, поднимает мятежный взгляд на отца и провозглашает во весь голос, словно бы лишь ее мнение здесь решает все:

– Это мой друг, отец, Филипп привел его к нам.

– Филипп? Хорошо.

Иоанна знает, что имя Филипп устраняет любые недоразумения.

– Может, господин желает отдохнуть после длительной поездки? Вас ждет легкий обед.

– С большим удовольствием отведаю, госпожа Агата. С большим удовольствием.

Сумерки опустились на усадьбу. Стыли последние проблески света перед тем, как совсем стемнело. Угасал один из

последних вечеров лета. И длинные клочья тонкой паутины неслись с вечерним ветром, натыкались и повисали на ветвях деревьев, на кустах, травах и последних летних цветах. «Сединой покрыло пряди матери цветущее лето» – так рассказывает старинная народная притча. Первое предостережение надвигающегося увядания. «Так оно, дети» – добавляют бабушки грустным голосом, рассказывая летними вечерами эту притчу внукам. «Так оно, цветение, уверенность и счастье – но уже старость настигает все живое…»

«Старость и небытие. Дорога все живого». – Так говорила старая и добрая няня с тяжелой одышкой, завершая сказку.

Господин Леви улыбается, снимает пальто, оттягивает галстук, сидит на каменной скамье у могилы. Старость и небытие – дорога всего живого, конец всего, и няня делает глубокий вздох, борясь с одышкой. Но дед мой, профессор, завершил бы эту сказку по-иному. В этот вечер он с особой яркостью предстает передо мной. Старый, увядший, кожа лица, как пергамент, пересеченный множеством глубоких морщин, как на древнем свитке. «Дети, знаете, что это за белая клейкая паутина? Молодые паучки скачут по ней, оставляют своих матерей, чтобы строить себе новую собственную жизнь. И это – когда уже все в природе говорит о смерти и кончине всего. Да, дети, это закон вечности. Это видно в облике этого паучка. Каждый конец объемлет новое начало, каждое начало объемлет конец». Верно, господин профессор. Уважаемый мой дед. Ты прав. Но что пользы всем сло-

вам твоей мудрости, если новая жизнь подобна унылому шелесту осеннего ветра? Что поучительного в этом, если покажу на паучках, что ползут по могиле, вечную жизнь? В этот миг я предпочитаю, господин профессор, слова доброй старой няни. Есть, есть конец, точка, завершение библейского стиха. Но если бы я мог, как она, сделать большой и глубокий вдох, если бы смог. Были дни, и я боролся с одышкой, как она. Там, в Давосе, в четырех стенах с широким окном, за которым был сказочный вид. Ведь я не из тех, который может сам себя обманывать, знаю, что у меня всего-то огрызок легкого. Есть дни, когда ты тянешься на простор из четырех стен. А есть дни, когда тонкая струйка крови из горла, и руки, парализованные слабостью – на белой простыне. Есть конец, есть завершение, точка и конец цитаты. Браво, няня! В один из дней стоял у моей постели тот чванливый молодой врач, и сообщил мне в категорическом тоне – ваше здоровье внушает опасение. «Премного благодарности! Кровь твоя сочится, душа трепещет в теле, испытывающем страдание, а врач тебе сообщает, что ты нездоров, и демонстрирует тебе двумя румяными щеками свой молодой возраст и тот простой факт, что его здоровье не внушает опасения. Несчастный и убогий господин Леви, ты опоздал на поезд, и абсолютно одинокий и отдаленный от всех, остался на перроне вокзала. Господин доктор, я опоздал на поезд? Но я умею идти по жизни. Дети называют меня «принцем». Никто не обнаружит моих слабостей. Но с оставшимся огрыз-

ком моего легкого можно существовать лишь в чистом воздухе Давоса. Я хочу вдыхать воздух полной грудью. Даже если перестанет втягивать воздух убогий огрызок моего легкого. Если сумею хотя бы еще раз, только раз поймать поезд. Буду страдать? Несомненно, но лучше страдание и печаль здесь, чем застывание там, на высотах».

* * *

День стерло теменью. Ушло летнее солнце, подул осенний ветер. Господин Леви потеет и ощущает холод ночи. «Надо встать, пойти и стереть пот, закутаться, сохранять от простуды больное тело. Глупости! Если бы я так должен был остерегаться, остался бы в Давосе. Мне приятен этот ветерок. И ночь эта приятна. Я научился довольствоваться малым, самыми простыми вещами. Деревом, цветком, птичьей трелью. Страдание – отличный проводник к счастью. Самое глубокое счастье я ощущал после самого тяжкого страдания. Ночь жива и оживляет все. Дни Вердена. Облако газа ползет на тебя. Дрожь во всем теле. Выдержит ли маска противогаза? И больница для солдат, отравленных газом. Когда ты открыл глаза, взгляд наткнулся на вечный стакан с водой, что стоял у твоей кровати днем и ночью. Расширить кругозор ты не мог, потому опять и опять возникал стакан с водой, поглощая все твои мысли и боли. Ты останешься живым, но в каком виде? Никогда уже не будешь здоровым челове-

ком. Это ты знал еще тогда. Сильно, до рези, скучал по ней. Ты ехал на поезде с другими ранеными, полу– или четверть людьми, домой. К ней, и потирал ключ от дома в кармане вновь и вновь всю эту долгую поездку – пока не увидел перед собой ночной Берлин. Берлин! А после, собрал остаток сил, и вот ключ уже скрежещет в замочной скважине. И голова твоя с гривой черных волос – в ее ладонях. И губы медленно раскрываются. Бросайся! Возвращайся в жизнь! Из глубин бездны страданий – в легкость вершин любви. И я получил! Нежную женщину, черноволосую, с глазами темными и полными страсти жизни. Были у нас мгновения великого счастья. И тогда пришел такой быстрый и жестокий конец. Я все еще ощущал счастье, стараясь его задержать, но надо было от него отключиться. Я сделал все, что мог. Страсть существования исчезала во мне с задушенным истошным криком. Страшный год был после ее смерти. Вернулся с кладбища, и комки земли прилипли к рукам, земли, покрывшей могилу. Ни одной слезы не проронил. Я просто онемел. Беда тянулась за мной, как тяжкий камень, привязанный ко мне, к моей плоти. Я старался освободиться от этого камня. Тяжко боролся. Долгое время. Старался снова любить и наслаждаться жизнью. Жить, как должен жить человек. Так и не преуспел. Разбилась вера в то, что можно преодолеть трещину и снова возжаждать жизни. Тяжек камень на моей шее. И потому, что я не хотел склонить шею, склонилась и искривилась душа, и долгие годы после ее смерти я шел по тропе

одиночества. Тропа была узкой, не было на ней места хотя бы еще одному единственному другу, сообщнику боли и радости. Я не поворачивал ни влево, ни вправо, не в прошлое, не в будущее. Что осталось от великой любви к ней, которая столько лет была смыслом моей жизни? Ничего не осталось, кроме одиночества – одеяние слабости характера, позорной сдачи судьбе, которой так и не удалось овладеть. Так и не сумел полюбить другую женщину, не хотел больше страдать. И потому, что не хотел снова уколоться о шипы, отказался от запах роз, и опоздал на поезд.

Надо рассказать Эдит о матери. Письмо, которое она мне написала, вызывает у меня беспокойство. Уехала с другом, офицером полиции. Не евреем. Почему это вызывает во мне неприятие? Не еврей. По сути, это для меня не имеет никакого значения. У Эдит хороший вкус. Может, это вообще мимолетное приключение? Она созрела для него. И лучше, чтобы это было до замужества, чем после. Дочки мои – бабочки. И не обернешь бабочек в пчел. И мать их была такой. Не была домохозяйкой в принятом смысле слова. Надо и дочерям рассказать о матери. Следует также посидеть с Филиппом, завершить дела с завещанием. За детей я не беспокоюсь. Они обеспечены всем в жизни. Есть у них имущество. Они красивы и хорошо воспитаны. Они образованы, живут в культурной и красивой стране. Да и радости жизни в них достаточно, чтобы одолеть все препоны. Все у них в порядке, и все же… Сегодня не так все гладко, ушли дни, когда отцы

могли наследовать сыновьям свое богатство и быть уверенными, что оно в гарантированной безопасности. Ушли эти дни. Мир весь в кипении, и Германия – в нем. Когда это было в этой стране, чтобы орущие клоуны с подмостков находили массу слушателей? Хотя я не верю, что они приведут к бедам, но есть периоды, текущие медленно, поколения живут в тишине и покое. Ведут образ жизни согласно ценностям, которые принимаются ими как абсолютные и вечные. Но есть периоды, как сейчас, когда процессы перехлестывают берега, и с легкостью влекут за собой людей и их жизнь. Нет, не следует отделять судьбу этой страны от судьбы детей. Германия. – Куда она держит путь? И что ждет детей в этом кипящем котле?

Следует обо всем поговорить с Филиппом. Вернусь домой, позвоню ему. Хорошо, что когда-то отец приблизил этого человека к моему дому. Он – человек необходимый в это время. Надо встать и идти Я должен беречь себя. Еще много у меня дел впереди. Я все еще не свободен».

Господин Леви одевает пальто. Что-то шуршит в кармане. А-а! Кучка пожелтевших листьев, которые собирал по дороге. Плоды листопада. Вспомнил стихотворение Рильке:

Господи! Обильно время, долгое лето.
Но нет у меня дома, больше не буду строить, и нет мне отрады.
Буду идти одиноким по дорогам, в мире этом,
Читать по ночам, писать письма и долго гулять по аллеям

В шелесте листопада».

Господин Леви вынимает листья из кармана и кладет на могилу. Памяти твоей, дед мой, профессор, памяти твоей! Я кладу эти символы увядания между белой паутиной твоей, в которой рождается новая жизнь, и молодые удостаиваются ее.

* * *

Когда приезжает черный автомобиль, на скамью падает дождь. Киоск у входа в переулок закрыт. Отто пошел в сопровождении верной своей собаки в трактир «Жирная Берта» – прополоскать горло кружкой пива и поговорить на злобу дня. Саул очень сердится. Недостаточно того, что кончились летние каникулы, так и Отто исчез из поля зрения! И нет человека, кому можно рассказать обо всем, что произошло. Он с силой захлопывает дверь мясной лавки. Две палки колбасы «салами», висящие в витрине, начинают раскачиваться в стороны. Словно колокола, вызванивающие «Добро пожаловать» мальчику, вернувшемуся домой. Но Саул не обращает внимания на их оклик.

Переулок пуст.

И дождь идет, идет и идет.

# Глава пятая

Потрепанные бурей, липы медленно роняют листья на скамью. Несомые ветром, листья прилипают к стеклам, словно просятся в убежище от ветра и холода. Переулок еще дремлет. Полутьма уже рассеивается. Серый, дождливый, опустошенный день окутывает дома тусклым покрывалом. На тротуарах ни одной живой души. Воды стекают в сточные канавы, обваливаясь в канализацию. Лужи скапливаются во впадинах асфальта. Под крышами, под прикрытием оконных карнизов, в подворотнях прячутся воробьи, издают тревожное щебетание, заглушаемое свистом ветра и шумом дождя. То здесь, то там колышется занавеска, и лицо, опухшее от сна, выглядывает из окна в сумрак, господствующий снаружи, смотрит и исчезает. Переулок поливается дождем, пуст, темен, дремотен. По краям тротуаров еще горят газовые фонари. Слабые бледные языки огня в них словно бы сотрясают дрожью стекла в домах, мерцая в них, как заключенные в острог души, и струи дождя текут по ним, как слезы, мировой плач, к которому никто не проявляет милосердия. Как бы издалека приходят в переулок звуки большого города, звон трамваев и гудки автомобилей. Там уже начинается шум и суета нового дня. В переулок входит человек, зажигающий и гасящий фонари, в длинном черном плаще, с шестом в руке, – тянет цепочку и гасит. Мало осталось в го-

роде переулков, где необходим его шест. Одиноко бредет он по переулку, сжавшись в своем плаще. Посланцем ушедших поколений шагает он в бледном свечении дождливого утра, охотясь за душами, которым удалось сбежать из своего времени. Шест его переходит от фонаря к фонарю. Одна за другой гаснут языки пламени за пеленой слез. Один, два, три, четыре, – считает он свои жертвы. Восемь огней в переулке, по четыре с двух сторон. И длинный шест убивает огонь один за другим, гасит души – одну за другой. Восемь! Все фонари погашены. Опять опустел переулок. Ветер свистит, кружит потоки дождя, и катящиеся клубы его между домами подобны густому дыму.

Вокруг скамьи дождь размягчил черную землю. Желтые влажные листья, упавшие с ветвей, устилают скамью и землю. Киоск Отто закрыт. Крупные капли падают с его карнизов. Все еще не видно ни одного человека на улицах. Только огромные грузовики выкатываются на дорогу. Трамваи разбрызгивают во все стороны струи мутной воды. Один из трамваев останавливается у скамьи. Сходят рабочие после ночной смены на фабриках. Лица их и одежды покрыты копотью. На плече каждого опустевшая сумка. Стоят несколько мгновений под дождем, застегивают куртки и пальто, нахлобучивают шапки на лоб, втягивают головы в плечи, поднимают брови к дождю, как коты, влекущиеся усталыми и равнодушными, подобно останкам войск, потерпевших поражение в бою, и звуки их шагов поглощают порывы дождя.

Зажигаются огни в окнах домов. Те, чья работа находится далеко от переулка, на миг задерживаются на выходе из дома, вглядываются в дождевые облака, и как прячущие клад, прячут полные сумки под пальто, и прыгают под дождь. Пересекают бегом переулок, перепрыгивают лужи, внезапной атакой осаждают автобусы и трамваи – и исчезают в дымке большого города.

Теперь и Отто выходит из своего дома. Сегодня он опаздывает на работу, ибо надеется, что Мина, которая вчера сбежала и еще не вернулась, вот-вот покажется. Отто раскрывает зонтик и выходит в переулок. Через дыру в зонтике вода попадает ему за воротник и вызывает дрожь во всем теле. Он делает движения в сторону, стараясь избежать этого холодного душа. Но струи вторгаются под пальто то спереди, то сзади. «Черт возьми! – цедит он проклятие сквозь зубы, отирает лицо рукавом пальто, – Мина, сучья порода! Всю ночь провела с одним из многих своих ухажеров, а сейчас где-то шляется в переулке, прячет морду между лапами, воет на ветер и боится выйти из укрытия».

Отто высовывает язык и слизывает капли, падающие с кончика носа, поворачивает голову, вглядывается в глубину переулка, издает свист, призывающий Мину. Но свист не слышен и Мина не видна. «Так оно, – вздыхает Отто, – в этом дело: сбежала утолить страсть, и кто ее сдержит? Миновала ночь любви, и теперь она забилась в какой-то угол и воет, и ничему никогда не научится».

Сильный порыв ветра дергает зонтик, раскрывая лицо хлещущим струям дождя. С трудом дыша, он добирается до киоска, и в этот же миг рядом с ним останавливается маленькая машина с утренними газетами. Водитель в длинном плаще швыряет перед киоском пачку газет «Красное знамя».

– Что нового? – спрашивает Отто, обычно каждое утро перекидывающийся несколькими словами с водителем, развозящим газеты.

– Дождь! – отвечает тот, борясь с ветром, и исчезает.

Отто входит в киоск. Снимает промокшее пальто, отряхивает кепку, вкладывает в рот жевательную резинку, чтобы нагреть мускулы лица, высовывает голову в окошко киоска – собаки нет. Только женщины, укутанные в шали, прячась под зонтиками, бегут в пекарню и в продовольственную лавку. Отто сердито выплевывает жвачку в дождь и берет другую. Хозяин трактира уже скатывает дверные жалюзи. С окна его витрины смотрит жирная Берта, и капли дождя на ее телесах подобны каплям пота. Велосипедисты проносятся мимо киоска, прикрываясь серыми полотнищами. «Никого невозможно узнать», сердится Отто. А собаки нет.

Напротив открываются ворота странноприимного дома войска Христова. Один из его солдат в синей форме, с блестящими пуговицами стоит у ворот, собираясь на утреннюю молитву. Как грибы во время дождя, возникают неожиданно у выходов из домов разные типы, верные сыны Иисуса и любители молитв – большое войско бедняков и бездомных,

которые нашли на ночь пристанище по углам лестничных пролетов, коридоров, за воротами. Они с трудом тянут свою порванную обувь по лужам. В рваных старых одеждах, дрожа от холода, они проходят мимо киоска к солдату, стоящему у ворот, зовущему их именем Иисуса внутрь, где за молитву их накормят и дадут приют. Отто напрягает взгляд – может среди этого сброда болтается его Мина? У женского рода свои вкусы. Может, Мина вышла из своего укрытия и прилепилась к одному из этих. Псина хитрая. Может, увидела людей, выходящих на собачий холод, и вышла за ними? Сейчас он услышит знакомый вой Мины, возвращающейся к себе? Но Мины нет среди прихожан, и Отто начинает серьезно нервничать. В последнее время дела несут все больше забот и не дают покоя. Он смотрит на дом напротив. Все окна закрыты шторами. Дом еще погружен в дрему, балконы с зелеными ящиками цветов капают, как простуженные носы. «Доктор еще спит, несомненно, спит». Дело чрезвычайной важности. Через час он поднимется к доктору для беседы. Отто снова надевает пальто, берет в руку несколько потрепавшийся зонтик.

Дождь припустил еще сильнее. Туман сгустился, нахлобучивая на крыши домов серые тюрбаны. Отто ищет укрытие, входя в большой дом, двигаясь по длинному темному коридору, стены которого исписаны адресами и рисунками. Юноши, одиноко блуждающие ночью в переулке, и влюбленные изливают тут свои сердца. Нацарапали в рифму на стенах

свои призывы. Между записками влюбленных висит достаточно потрепанное объявление – «Запрещено просить милостыню в этом доме». Сверху, на влажной штукатурке, тянутся, обвисая, электрические провода во всю длину коридора, как длинные, серые капли дождя. Мох давно затер краску стен. Большие пятна плесени, как разросшиеся родинки на коже, цветут на стенах. И они исходят потом, словно истекают всем, что вобрал в себя этот дом за долгие годы: резкие запахи человеческих выделений, рвоты пьяниц, отправлений младенцев, мха, гниющего дерева, квашенной и вареной капусты, свиного жира, на котором жарилось мясо, выкипевшего молока. Потеющие стены выделяют эхо тяжелых шагов множества пролетариев, которые ступали по этим ступенькам бесконечным потоком, утром из дома, вечером – домой. Дни и годы, от юности и до старости, беспрерывна ходьба, от которой освобождает только смерть. Стены выжимают из себя пот, словно отяжелял их непосильный человеческий груз, придавливающий весь дом. В углах карнизов, над окнами лестничного пролета, пауки сплели широкую паутину, словно выплели нити множества судеб, наполняющих этот рабочий дом переулка в самой пуповине большого города.

Отто дошел до ступенек и смотрит вверх. В коридорах, у дверей собрались женщины для обмена утренними сплетнями. На деревянных ступенях кружатся дети с кусками хлеба, намазанного повидлом, в руках, лица их вымазаны этим повидлом. Отто вздыхает с глубокой печалью, поглядывая на

женщин, болтающих у дверей. Он пересекает двор, направляясь к доктору Ласкеру. Есть у него к доктору важное дело.

Стенные часы в кабинете доктора Ласкера отбивают восемь.

Филипп надевает пальто, «надо поторопиться», думает он, «сегодня у меня много дел». Берет портфель и останавливается у окна. «Какой сильный дождь! Миновало лето. Просто промелькнуло. Проносятся месяцы как короткий обеденный перерыв в офисе. Но в это лето многое случилось. Если бы этот дождь был в силах смыть все, что нагромоздило только это лето. Если бы… Это слова – «если бы» – вечная и верная моя спутница».

Филипп натягивает перчатки, завязывает шарф, собираясь выйти из дома. В этот миг раздается звонок, и служанка впускает в комнату Отто, за зонтиком которого тянутся струи воды, и ботинки его вздулись от дождя.

– Доброе утро, доктор. Дождь на дворе, доктор. Я говорю вам! Снимите пальто, доктор, и присядьте, я к вам по важному делу, да, доктор, по очень важному делу.

– Отто, у меня неотложные дела. Твое дело не может подождать?

– Не может, доктор.

Отто подбегает к печке, прикладывается ладони к кафельным плиткам.

– Печь холодная, доктор. Кто ее затопит? Но я говорю вам, доктор, лучше холодная печь, чем жена в доме. Кости мои,

доктор, содрогаются от холода. Я крутился по улицам. Сбежала моя Мина. Дезертировала из дома, доктор, и не вернулась. Человек в таких случаях может выйти из себя, доктор!

– Ах! – восклицает доктор Ласкер. – Почему сбежала? Вы поссорились, Отто?

– Да не ссорились мы, доктор. Течка выгнала ее на улицу. Эту сучку, сукину дочь! Еще жизни лишится из-за своих любовников.

– Х-мм… Ты пришел получить мой совет в отношении жены, что сбежала?

– Иисусе, доктор! Упаси Боже! Достойна ли женщина, чтобы из-за нее я вас беспокоил так рано? Речь не о моей жене, а именно о собаке моей, Мине. Это она сбежала в этот собачий холод из-за…

– А-а? Собака, но я ведь ничего в них не смыслю, Отто. Время торопит меня, Отто, очень торопит.

– Поверьте мне, нет у вас, доктор, более важного дела, чем мое. Сядьте, доктор, сядьте. Невозможно говорить с человеком, который проявляет признаки нервозности. Это напрягает и мои нервы, сядьте, доктор.

Доктор Ласкер садится в кресло и с нетерпением смотрит на часы.

– Так в чем все же дело, Отто?

Отто ковыряется в карманах, вытаскивает повестку в суд. Обвинение в оскорблении правительственного чиновника.

– Что у тебя случилось, Отто?

– Что случилось? Вы, несомненно, знаете моего друга Кнорке?

– Не имел чести, Отто.

– Не может быть, чтобы вы его не знали, доктор? Знакомы, еще как знакомы! В почтовом офисе сидит мой друг Кнорке и продает марки, вы не обратили внимание? Он популярен благодаря бородавке на подбородке…

– Отто… – доктор сжимает в руках, словно угрожая им, портфель, – да, я знаю твоего друга Кнорке, но что с ним случилось, Отто, что?

– Во-первых, отложите портфель в сторону, доктор. Если вы этого не сделаете, я могу подумать, что я вам мешаю. Снимите пальто, и поговорим, как человек с человеком.

– Ну, хорошо, Отто. Что у тебя произошло с господином Кнорке! К делу, Отто, к делу!

– К делу, доктор. Итак, вы знакомы с моим другом Кнорке. На первый взгляд можно предположить, что человеку с такой скромной внешностью, природа дала что-то взамен, например, достаточно ума. Но, честно говоря, природа и этого лишила моего друга. Кнорке давно живет в переулке, вы должны знать…

– Отто, откуда мне это знать? Это тоже касается дела? – доктор украдкой поглядывает на часы.

– Это важно, доктор, весьма важно. Снимите шарф, доктор, это не полезно для вашего здоровья – сидеть с шарфом на шее, и затем выйти в стужу. Вам надобно знать, что Кнор-

ке посещает переулок по делам, что лучше о них помолчать. Затем заходит в трактир – немного прийти в себя, и вот там мы перебрасываемся мнениями о том, о сем.

– Отто, прошу тебя, говори о самом деле.

– Доктор, да разве я не говорю о самом деле? Вы должны знать, доктор, – как только Кнорке пропустит несколько рюмок, сразу же начинает ругать республику. И я, ведь известно вам, сердце мое не расположено к республике. Нет и нет! Но проклятья Кнорке я не могу вытерпеть, ведь республика его кормит и дает ему заработок, и без нее он – просто летящая пыль. И я, доктор, перед Кнорке, подпоясываюсь покрепче, и выхожу на защиту республики.

– Отто, скажи, чем ты оскорбил твоего друга? Что ты ему сказал?

– Доктор, разве я не говорю, что сказал ему? Ведь я все время говорю именно, что сказал Кнорке. Что плохого находит в республике такой человек, как ты? Полагаю, беда в том, что ты служишь кормом для ослов. Я намекнул ему, доктор, но Кнорке намека не понял. Несомненно, не понял. – Нам нужен сильный человек! – кричит. – Сильный человек! Ну, что скажете, доктор?

– Отто, я понял, у вас состоялась беседа с другом Кнорке, и после этого ты получил повестку в суд.

– Да нет, доктор. Не так. Абсолютно не так. Что вы подумали, доктор? Да может ли убогий мозг Кнорке запомнить то, что я ему проповедую в такой вечер? Но в один из дней

прихожу я на почту. Получил предупреждение из налогового управления. Удивляются, почему оплата налога еще не пришла к ним. Иду объяснять, что не надо этому удивляться: я просто не оплатил.

– Так из-за налога ты оскорбил господина Кнорке, верно?

– Ах, доктор! Да, при чем тут – налоги? Не из-за этого я прихожу на почту. И кто сидит за окошечком и продает марки? Мой друг Кнорке!

Отто пытается отдышаться, прочищает горло, чтобы, наконец, рассказать о самом деле.

– Доктор, сидит, значит, мой друг Кнорке, выпрямившись, такой серьезный, словно офис его личная наследственная усадьба. Свой скромный облик втянул в воротник синей форменной одежды почтового работника, очки в золотой оправе – такое дополнительное украшение на носу. И вовсе не для того, чтобы всем этим скрыть свои недостатки, доктор, а чтобы отвлечь внимание клиентов от его бородавчатого подбородка и…

– Отто, пожалуйста…

– Не прерывайте меня каждую минуту. Какой же вы адвокат, если не умеет терпеливо выслушать клиента? Это ведь ваша профессия. И вот, функционирует друг Кнорке в почтовом офисе – весь – окутанный важностью и великолепием. И я, увидев это чудовище, тут же соответственно здороваюсь с ним – Кнорке, доброе утро! Вижу, ты уже пришел в себя после вчерашней ночи. – И Кнорке, благочестивая ду-

ша, краснеет, как девственница, которой подмигивают. Выпячивает свою бородавку, как некий рог и цедит сквозь зубы – господин клиент, чиновника не отвлекают от его обязанностей во время службы частными делами. Прошу вас, изложить вашу просьбу и освободить место следующему.

Тут же, доктор, я почувствовал, как во мне закипает кровь, и зубы начинают стучать. – Господин чиновник, говорю, уважаемый господин осел, несмотря на то, что затянут в мундир, осел есть осел, и ревет, как осел. Из-за этого, доктор, друг мой Кнорке подал на меня жалобу в суд. Я закончил. Теперь говорите вы, доктор.

– Боюсь, Отто, нет у меня для тебя совета, в твоем случае закон стоит на стороне друга Кнорке. И наверно все тобой было сказано в присутствии многих свидетелей.

– Свидетели! Да разве в свидетелях нуждается мой друг Кнорке? Я буду стоять на своем, и ничего перед судом скрывать не буду! Он – осел в мундире! Да разве можно отрицать то, что я сказал? Я и не собираюсь. Я ведь не флюгер какой-то, чтобы держать нос по ветру. Я ведь все же социал-демократ!

– Отто, что ты так разволновался? Надо спокойно отнестись к делу. Всего-то оштрафуют тебя.

– Деньги, доктор! Деньги! Даже пфеннига одного не пожертвую этому правительству, никогда! Чтобы выкармливали на мои деньги таких вот ослов с бородавками, как друг мой Кнорке? Нет! Даже если заставят меня проглотить этот

пфенниг и задохнуться.

– Успокойся, Отто, сядь, что-нибудь придумаем.

Не может Отто сдержать себя, ходит по комнате взад и вперед, глаза навыкате, весь пышет пламенем. Часы на стене отбивают восемь с половиной. Доктор Ласкер вздыхает. За стеклами хлещет дождь.

– Вы понимаете, доктор, почему я так взвинчен? Не из-за друга моего Кнорке. Буду я волноваться из-за ослиного рева? Конечно же, нет. Все дело в немцах, доктор Ласкер. Сильное искажение произошло в немецком человеке, что-то в нем искривилось. Поглядите, доктор Ласкер, что происходит в Германии. Некто определяет физиономию моего друга Кнорке в квадрат почтового окошка. И тут же этот субъект превращается в начальника, продающего почтовые марки, и тебе дано великое право – получать милостыню из его рук. Таков характер нашего народа. Каждый служка должен иметь своего прислужника, сгибают спину, стелются перед теми, кто наверху, и топчут ногами тех, кто снизу. Почему этот так у нас? Я спрашиваю вас, почему? Ибо у этого народа вместо души – казарма. Тают перед каждым насекомым, у которого пуговицы служивого.

Отто сидит в кресле, обняв колени обоими руками, погрузившись в размышления, и вдруг вскакивает, как ужаленный.

– Доктор, страшная порча нашла на немцев! Подозреваю, что и социализм им не поможет. Я спрашиваю вас, доктор,

кто они, миллионы безработных? Река, которая влечет мутные воды. И человек в человеческом облике тонет в этих водах. И кого сумеет выудить ваша рука из водоворотов такой реки? Мерзавцев, доктор, и все тут. Да, да, доктор, пойду сидеть за решеткой из-за друга моего Кнорке. Чтобы черт и тьма египетская побрали его и ему подобных. Доброго утра, доктор, пойду я своей дорогой.

Отто застегивает пальто, берет зонтик, словно это обнаженный меч в его руках, тяжелыми шагами пересекает комнату и открывает дверь. Доктор Ласкер просит его вернуться.

– Отто, я все же хочу дать тебе совет.

– С превеликим удовольствием, но – покороче.

– Отто, придержи язык за зубами. Экономь слова, когда тебя заставят говорить. Остерегайся, чтобы действительно не сесть за решетку из-за господина Кнорке и ему подобных, Придержи язык, Отто, для более важного времени. Мы живем в безумные дни, невероятно безумные.

– Совет принимается. Истинно верно – дни сейчас невероятно безумные.

Наконец-то доктор Ласкер надевает пальто. «Сегодня много дел. Надо поторопиться. Уже не успею увидеть Саула. Надо связаться с семейством Леви. Необходимо побеседовать с господином Леви по весьма важным делам».

* * *

Площадь все еще погружена в дремоту.

В доме Леви спят. Жалюзи опущены. Ветер треплет кроны деревьев. Вьющиеся растения на стенах дома вытянулись порывами ветра и похожи роту часовых, охраняющих дом при входе и выходе.

Восемь раз прокуковала кукушка в стенных часах салона. Жильцы дома пробуждаются от сна.

В столовой Эсперанто вращает глазами, навостряет уши, зевает со сна и соскальзывает со своего ночного ложа в кресле.

Фердинанд внес патефон в ванную, и бреется под звуки популярной в сезоне песенки. Служанка в коридоре начищает обувь в ритме мелодии. Кудрявые девицы, поднимают головы, на миг, прислушиваются к вою ветра, шуму дождя, скрипу жалюзи, и опять погружают свои кудри глубоко в подушки.

«Жаль», – думает господин Леви и зажигает ночник, – жаль. Осень в этом году пришла слишком рано. Придется отсиживаться дома. Позвоню Филиппу, приглашу на обед. Гейнца тоже следует пригласить на эту беседу. Проверить, что происходит на фабрике. А первым делом следует осведомиться о здоровье Эдит. Все еще не вернулась из своего путешествия. Фрида сказала мне, что она переписывается с

Гейнцем».

Господин Леви сворачивается под одеялом, дождь бьет в жалюзи.

«Эдит, – думает он с теплотой, – я ведь люблю ее больше всех детей, но никогда не выказывал ей свою любовь».

* * *

«Где чулки?» – Иоанна находит один чулок под кроватью. «Саул обещал прийти сегодня, но в такой дождь вряд ли придет». Иоанна сидит на кровати, и чулок вяло свисает с ее рук. «Завтра начинаются занятия в школе. Фу! Сегодня попрошу у отца нанять мне учительницу иврита. Хочу тоже знать то, что знает Саул».

– Ты трус! – Бумба сидит на краешке ванны. – Ты большой трус, Фердинанд.

Фердинанд вернулся с каникул возбужденным и несчастным. Обе кудрявые девицы влюбились. Весь дом соболезнует горю Фердинанда.

– Я бы на твоем месте, – продолжает Бумба, – сделал то, что сделал один мексиканец, которого я видел в кинофильме. Встал бы против одного из этих господ, выхватил бы пистолет и крикнул: господин хороший, предупреждаю тебя – ты или я!

– Это называют дуэлью, – вмешивается Иоанна, что тем временем явилась в ванную в ночной сорочке с одним чул-

ком на ноге.

– Отстаньте от меня, – злится Фердинанд, – оставьте меня, я нервный.

В кухне Фрида включает электрическую кофеварку. Жужжание ее внушает некоторую бодрость в это осеннее утро. В кухню на коленях вползает Гейнц. В утренние часы мягкость Фриды явно ей не идет и пугает всех обитателей дома.

– Фрида, – подлизывается Гейнц, – Фрида, доброе утро! Как спалось в эту ночь? Как ты себя чувствуешь в такое скверное утро?

– Не задавай сразу столько вопросов! – сердится Фрида. – Садись, ешь и собирайся на твою работу. Снова проспал.

Фрида энергичными движениями ставит на стол посуду, еду, Гейнц скромно усаживается на краешек стула, с выражением вины на лице, и просящим прощения.

– Твой дед, – начинает Фрида, и поток ее слов заполняет кухню до предела, – каждое утро вставал до рассвета и открывал ворота фабрики. Уважаемый господин, говорила я ему, у вас что, на фабрике нет привратника? Фрида, отвечал он мне, Фрида, ему надо ждать поезда, чтобы добраться до места работы. Да и отец твой, когда был еще здоров, выходил из дому каждое утро точно в семь, а вот, наследник – сидит за столом.

– Фрида, ты преувеличиваешь.

– Преувеличиваю, преувеличиваю! Не присматривала бы я за этим сумасшедшим домом, давно бы мы все ходили по

улицам с протянутой рукой, – Фрида вытирает нос передником. – Бедные дети! Вы должны благодарить Иисуса милосердного, что я хлопочу здесь обо всем.

– Ты преувеличиваешь! – мягко возражает Гейнц, – перестань так беспокоиться, положение наше не до такой степени худо. Во всяком случае, оно дает тебе возможность покупать каждое утро свежие булочки.

– Иди на работу!

– Выгляни в окно, Фрида на этот пасмурный день! Страх Божий! В какой мир ты изгоняешь меня вместо того, чтобы предложить еще одну чашку кофе.

Гейнц абсолютно отрешается от плохого настроения Фриды, с удовольствием закуривает, словно собираясь сидеть здесь долгие часы.

– Послушай, Фрида, ветер воет, как хищный волк. Не кажется ли тебе, Фрида, что в такой день мир обнажает свое истинное лицо? Фрида, как ты полагаешь, если я сейчас выйду в бушующую пустыню, как будет себя чувствовать во мне человек – венец творения?

– Надень теплые штаны и не изводи меня своими бестолковыми рассуждениями.

– Фрида, – Гейнц притягивает к себе второй стул, и кладет на него ноги. – Я буду себя чувствовать как несчастный воробей, который мокнет под дождем, и ветер его треплет. Куда обратится, куда спрячется воробей-сиротка в эту бурю?

– Тебе следует жениться, – на лице Фриды возникает вы-

ражение большого беспокойства, – тебе необходима жена. Когда парень безостановочно плетет глупости, это означает, что он созрел. – Фрида неожиданно усаживается напротив Гейнца, скрестив руки на животе, и вперяет в него явно осуждающий взгляд. – Давно пришло время, чтобы ты вел себя ответственно и разумно. Отец твой болен, а ты первенец его, как же ты свел Эдит с этим мерзким юбочником? Дочь добропорядочных родителей обретается с мужчиной в гостиницах. Езус! Видела бы это ваша матушка! Перевернулась бы гробу! И беда эта из-за тебя! Привел этого типчика в наш дом. Ты! А Эдит, Эдит…

Фрида плачет. По ее широкому и доброму лицу текут крупные слезы. Гейнц сконфужен. Поворачивается к окну, вглядываясь сквозь дождь.

– Ты первенец! – кричит Фрида ему в спину и сморкается в платок.

Гейнц нервно сминает в пальцах сигарету.

«Он привел этого мерзавца в дом! Что Фрида знает об этих жестоких днях? С тех пор партия Гитлера преуспела на выборах, усилился антисемитизм, именно в металлургической отрасли. Он, Гейнц, вынужден искать новые связи. Он обязан дружить с победителями, насколько это возможно. В подвалах с питьем и развлечениями он нашел многих из них. И этого Эмиля Рифке. Он офицер республиканской полиции, но его связи с нацистами такие, что он был послан штабом полиции к крестьянам Пруссии, не желающим пла-

тить налоги. Они вышвыривают со двора налоговых инспекторов. И это сопротивление нагнетают типчики в коричневых рубашках. Решили послать вора к ворам: Эмиль Рифке сумел погасить конфликт. Эдит поехала с ним, в маленький городок, скрытый между селами. По сути, это курортный городок, Эдит тоже одна из отдыхающих. В небольшой гостинице она ожидает Эмиля из поездок по селам. Эдит сломалась в грубых ладонях налогового инспектора. Не для этого он, Гейнц, привел Эмиля в их дом. Он пытался ее предостеречь. Вернувшись из усадьбы деда, нашел ее в саду. Была летняя ночь. Он сидел на ступеньках дома. Сад тонул в сиянии. Эдит шла к нему по аллее в светлом вечернем платье, с улыбкой на губах, как бы погруженной в любовные воспоминания. Он побежал ей навстречу, и они встретились между деревьями. Хотел с ней поговорить, предостеречь, рассказать кто он, этот Эмиль. Протянуть ей руку. Но Эдит окинула его холодным отчужденным взглядом и заскользила в сторону дома, не собираясь даже его слушать Совершенно обескураженный, он глядел вслед, оставшись с пустыми руками. Тогда он понял, что опоздал. Любое предостережение – впустую. Эдит, бабочка, расправила крылья. На следующий день уехала. И кто виноват?»

– Ты – первенец! – укоряет его Фрида, и слезы текут у нее из глаз.

Гейнц подошел к ней и положил руку ей на плечо.

– Успокойся, добрая старушка, – он растроганно гладил

седые волосы Фриды, – Эдит вернется. Началась осень. Она не останется на каникулах в ливень и бурю. Вернется в ближайшие дни.

– Вернется – Фрида не успокаивается, – но даже вернется, не будет та же Эдит, избранная и чистая, какой была раньше.

– Что делать, милая моя старушка? – Гейнц обнимает Фриду за плечи. – Нельзя бабочку держать в закрытой коробке. Она может потерять все свои красивые оттенки.

– Ты со своей болтовней! Когда можно будет с тобой серьезно поговорить?

– Быть серьезным, моя старушка, – быть серьезным и жениться. Отлично сказала, красиво. В этом холодном мире возьму себе в жены толстушку, круглую, теплую, – голос Гейнца становится тише, задумчивей, – быть может, не увидишь меня на улицах этого города. В объятиях ее совью гнездо, закрою свой дом на замок и удостоюсь увидеть своих сынов и внуков, получивших образование, ставших зрелыми. Если бы это свершилось! Дни-то сейчас ужасно тяжкие.

Зазвонил телефон.

– Езус, – смахивает слезы Фрида, снимает руку Гейнца со своего плеча. – Уважаемый господин проснулся. Просит завтрак.

– Гейнц, – говорит она, прослушав телефон, – твой отец просит зайти к нему прежде, чем ты отправишься на фабрику. Поторопись! Лентяем ты был еще тогда, когда я тебе утирала нос, лентяем будешь всю жизнь.

– Доброе утро, отец.

– Доброе утро, Гейнц.

В комнате господина Леви опущены жалюзи. Горит настольная лампа. Чисто выбритый, прямой, серьезный, как всегда, сидит господин Леви у темного письменного стола. Перед лицом отца лицо Гейнца обретает еще более серьезное, самоуверенное выражение. Гейнц отвешивает отцу легкий поклон.

– Как прошла для тебя поездка из усадьбы, отец?

– Прошла. Видишь, Все трубы небесные разверзлись на меня. Я надеялся найти дома Эдит.

Господин Леви бросает долгий оценивающий взгляд на сына.

– А, Эдит? Она все еще отдыхает в каком-то маленьком романтическом городке.

– Да, – говорит господин Леви, – отдыхает.

Довольно долго отец и сын не роняют ни звука. Гейнц мнет в пальцах сигарету.

«Его царственный вид сердит меня каждый раз. Даже утром, это не очень приятно, когда каждый человек, свободный от дел, не встает с постели, он уже бодрствует, чисто выбритый и одетый с иголочки, готовый в любой миг для приема посетителей. Следует уважать правила поведения человека. В общем-то, нетрудно быть уравновешенным и разумным, пока ты в стенах дома. Но дни-то иные, дорогой отец-принц. Ни разума, ни уравновешенности. Отец уверен, что

разум не обманет. Но разум не вечен, уважаемый отец. Сегодня разум растаптывается прахом под самыми грубыми страстями».

Кукушка в прихожей нарушает молчание. Девять утра.

– Отец, разреши идти. Час поздний.

– Гейнц, что случилось с Эдит? Все ее поведение меня удивляет. Кто этот человек, за которым она пошла?

Гейнц немного сконфужен.

– Отец, разреши поднять жалюзи? Скрежет и удары ветра действуют на нервы.

– Пожалуйста, Гейнц. Мы не привыкли вести такие беседы, и все же прошу тебя, говори со мной откровенно. Гейнц, я беспокоюсь за Эдит.

– Отец, сказать по правде, я и сам ее не понимаю. Появился мужчина, и она провела с ним несколько вечеров, и уехала с ним, не сказав ни слова.

– Но кто этот человек?

– Один из моих знакомых, офицер полиции.

– А Тибо?

Гейнц жестом руки как отметает это имя.

– А Тибо? – повторяет господин Леви, расхаживая по комнате, чего обычно не делает, беседуя с кем-то – дай мне ее адрес, Гейнц.

– Что ты намереваешься делать, отец?

– Потребовать от нее вернуться домой.

– Не очень привычно для нее слушаться требований отца.

– Гейнц, здоровье мое слабое. Не знаю, что будет со мной завтра. Я напишу ей об этом, и попрошу вернуться, чтобы следить за мной.

Гейнц в смятении направляет прямой взгляд в лицо отца. Отец болен уже много лет. Но ни разу не слышали такого отчаяния в его голосе. Взгляд открывает в лице отца усталость, мягкость, печаль. Гейнц испуган. Неужели до такой степени ухудшилось здоровье отца? Об этом свидетельствуют глубокие тени в глазных впадинах. Страх охватывает Гейнца. Надо всеми силами беречь отца. Вопреки всему, он является родовым деревом, основой этого дома.

– Отец, – как можно мягче говорит Гейнц, – я уверен, что Эдит немедленно вернется домой, чтобы ухаживать за тобой.

Господин Леви выпрямляется.

– Гейнц, я хочу получить точный отчет о фабричных делах. Постарайся вернуться домой в два часа, к обеду Я приглашу также Филиппа. Я хочу, чтобы он высказал свое мнение по определенным вопросам, касающимся будущего фабрики.

Снова лицо господина Леви становится сдержанным. Мягкие доверительные нотки, что миг назад установились между отцом и сыном, исчезли. Лицо Гейнца окаменело, словно его заморозил черт.

– Как пожелаешь, отец. Я буду готов. До свиданья, отец.

– Гейнц, еще минуту. Почему ты приводишь в наш дом людей, которые нам не по вкусу?

– Отец, потому что дни теперь такие, безумные. В такие дни нам приемлемы такие друзья, как офицер полиции Эмиль Рифке.

Гейнц отвешивает поклон и выходит из комнаты.

Кукушка озвучивает время.

Когда черный автомобиль въезжает во двор металлургической и литейной фабрики «Леви и сын», рабочий день уже в разгаре.

Территория фабрики огромна. Шоссе, которые дождь довел до блеска, соединяют много различных зданий. Между ними движется поезд. Открытые платформы вагонов загружены тяжелыми плитами. Электровоз тянет вагоны, и гудит без перерыва. Фонари в тумане дождя сверкают как кошачьи глаза в ночи. Около огромных весов, обслуживаемых рабочими в плащах и черных капюшонах, поезд останавливается. Подъемный кран опускается и подхватывает большим своим ногтем связки листов стали. Затем переносит свою добычу на грузовик. Открываются ворота, и тяжело нагруженный грузовик уступает место еще не загруженному собрату, и отправляется в путь.

Гейнц останавливает автомобиль, приглаживает волосы и смотрит на рабочих, уважительно приветствующих его. «Нет нужды так торопиться», – с горечью думает Гейнц, – эти листы стали, из которых изготовляют кухонные плиты, – последний большой заказ. Если нам не удастся подписать договор с городскими газовыми предприятиями, фабрика по-

грузится в зимнюю спячку». Испугавшись самой этой мысли, Гейнц вновь заводит автомобиль и едет в гараж. Большое движение царит на фабричном дворе, шум оглушает. Краны скрежещут, машины тарахтят, дождь барабанит по скоплениям ржавого железа, рабочие торопятся, заводят, тормозят, разгружают и загружают. Огромный мир железа и стали. Из труб доменных печей клубится густой дым, оседая на крышах домов и складов, тяжелый как осенние облака. Гигантский молот высится над крышами зданий как стальная остроконечная башня, и кувалда, висящая в нем, как язык колокола, бьет без остановки. Молот гоняет кувалду вверх-вниз как игрушечный колокол.

Гейнц останавливает автомобиль у литейного цеха. В самом центре двора огромный навес литейного цеха: закрытое кирпичное здание, подобное удлиненному кубу, и только под крышей навеса открыты ряды узких оконцев с темными стеклами. По одну сторону навеса – горы кокса, по другую – глубокая яма, заполняющаяся шлаком и всякими отходами, а у ямы – гора краснозема, используемого при литье. Поверх гор кокса и краснозема катятся вагонетки по стальным тросам воздушной канатной дороги в обе стороны, от гор кокса внутрь доменных печей, четыре квадратных трубы которых выходят из крыши литейного цеха до самых облаков.

Большие стальные ворота литейного цеха открыты. Тут царство огня, и здесь не чувствуется ни осень, ни зима, ни дождь, ни ветер. Нестерпимый жар царит между черными

стенами все месяцы года и все дни недели. Сердце фабрики пульсирует здесь, под задымленным навесом. И как выдох рта гигантского тела выходит дым из плавильных печей. Все дороги, исходящие отсюда и ведущие сюда, подобны длинным артериям. Все дома вокруг, как вспомогательные клетки этого огромного тела, обслуживают лишь его. Если они остановятся, остановится весь завод. Из сердцевины, в которой кипит железо, пылающий поток вливается и застывает в формах, так рождаются предметы и вещи в месиве огня, дыма и жара.

Гейнц входит в литейный цех, останавливается у входа и кладет руку на усилитель пламени. Раздается звонок – знак, что завершилась плавка, и огненная река бьет в закрытые отверстия печи. Рабочие суетятся у печей, на бедрах у них кожаные фартуки, на руках кожаные рукавицы, на ногах легендарные сапоги из лоскутов кожи. Но руки и плечи оголены, и фартуки лишь частью защищают открытую грудь. Команды коротки и отрывисты, иногда ругань, иногда едкие выкрики – осколки разговора в царстве огня. Железные шесты сняли преграду с отверстия печи, и ореол искр и белые облака пара взметаются вокруг пляшущих языков пламени, дымных воскурений, шипения, пузырей, кипения. Потоки огня текут в бетонных желобах, выходящих из плавильной печи, и уже большой кран движется по стальным рельсам под крышей зала. В маленькой кабине – водитель. На длинных цепях круглый котел, носик которого изогнут аркой, подтяги-

вается краном к отверстию печи. Словно из разинутых зевов драконов надвигается, подобно мифической реке Самбатион, поток языков пламени, со страшным шипением и дымом. Кран захватывает когтями котел, извлекает его из огня преисподней и быстро передвигается к большим формам, ждущим раскаленного литья. Тут кран замирает, открывается носик котла, и лава опрокидывается в форму, вся в ореоле искр и ослепительного сияния. Как гнев огня, зажатого без возможности вырваться, выходит дым через щели формы, бьют электрические молоты, не дают остыть литью, подбрасывая его, толкут в форме, длится расплющивающая пляска. А кран уже движется к следующей форме – быстрей! Пока еще железо текуче! Когда в первой форме, в красноземе, возникает форма – рабочие сбрасывают эту красную землю, и из пламени возникает уже остывшая деталь.

Гейнц стоит у входа, лицом к огню, спиной к дождю. Усилившийся ветер швыряет струи дождя в ворота литейного цеха, и огромный вал дыма, который не нашел выхода через трубы, катится под навесом. И клубы пыли, пригоршни дождя и фейерверк огня смешиваются, словно соединились четыре элемента Сотворения – вода, огонь, прах и ветер – создать единым усилием что-то новое е. Под навесом жар. Нечем дышать. С черными лицами и покрасневшими глазами суетятся полуголые рабочие в огне и облаках дыма, как демоны в глубинах преисподней.

Инженер, ответственный за работу в цеху, здоровается с

Гейнцем.

– Дым сгущается в цеху. Когда усиливается ветер, дыму нет выхода. Рабочие задыхаются, и это замедляет работу.

– Я это знал, – самоуверенно отвечает Гейнц, – если я не ошибаюсь, вы не первый раз жалуетесь мне на дым в цеху.

Инженер прикусывает язык и замолкает. Гейнц известен среди рабочих и служащих как человек спесивый и высокомерный. Чувства инженера хорошо видны на его замкнувшемся лице. Гейнц знает, что работники фабрики к нему не питают большой любви. Перед дедом преклонялись, отец вызывал уважение своим возвышенным образом, а Гейнца побаиваются, но за спиной ругают его, на чем свет стоит. Инженер этот работал еще при отце, он верный работник и он прав.

«Следует внести изменения в здание литейного цеха. И это не терпит отлагательства, литейный цех столько лет не обновлялся. Еще дед его построил, отец несколько обновил, да и немного добавил. Но все время была проблема с чертовым дымом. Сегодня строят литейные цеха более просторными, открытыми свету и воздуху».

Гейнц вглядывается в огонь и дым. Рядом молчаливый инженер.

Как извивающийся змей, плюющий фейерверком огня на все окружающее, обнимает дым суетящихся рабочих.

«Надо изменить это старое сооружение, чтобы облегчить труд рабочих и увеличить выработку. Что сказать инжене-

ру? Сказать, что сейчас нет возможности вложить много денег в новое строительство и что будущее фабрики несколько стопорится? Лучше не говорить с ним об этом. Лучше высокомерие, ибо это отличное прикрытие отсутствия уверенности».

От печи отделяется и приближается к выходу кочегар, мужчина широкий в кости, с почерневшим от дыма лицом. Спина и плечи обнажены, и мышцы играют как гибкие стальные струны. Он выпячивает грудь, поросшую черными волосами. В руках у него железная болванка, и он крутит ее в пальцах, как спичку. Это Хейни-сын-Огня, как его прозхвали товарищи по литейному цеху за его умение зажигать курительную трубку куском раскаленного добела железа, который он поднимает с земли пальцами, которые не боятся огня. Тяжелыми шагами он приближается к выходу, чтобы высунуть голову под дождь, подышать свежим воздухом и остудить тело. Гейнц с улыбкой первый спешит его поприветствовать, у него установились особые отношения с этим темнолицым кочегаром. Не раз Хейни приглашался на беседу с молодым хозяином. Там, в офисе Гейнца огромный рост Хейни как бы сжимался. Стоял с жалким видом среди темной мебели, шапка в руках, переступал с ноги на ногу, мямлил в ответ на вопросы Гейнца со смятенным выражением лица. Здесь, в литейном цеху, проходит Хейни перед хозяевами – огромный, широкоплечий и черный, как библейский Тувал-Каин собственной персоной, и на приветствие Гейн-

ца отвечает уголком рта в полнейшем равнодушии. Здесь, в царстве огня Хейни – хозяин, а белолицый и чисто одетый Гейнц – ничто. Гейнц добродушно усмехается. Эти знаки небрежности, подаваемые Хейни, предназначены лишь для того, чтобы произвести впечатление на товарищей по цеху, вознестись над ними. Вообще с литейщиками сплошная беда. Они первыми бастуют, и по своим делам, и по делам других. Они подстрекают всех рабочих фабрики в любой подходящий момент. Как листопад, к которому поднесли горящий фитиль, так ненависть охватывает эту профессию. Как традиция из поколения в поколение, у древних плавильщиков железа в глубинах леса родилась эта ненависть. Вечная ненависть этого племени с обожженными бровями и ресницами, опаленными лицами, к людям светлой кожи, белолицым, чисто и аккуратно одетым. Литейщик, который, раздувая огонь в печи, одновременно не раздувает ненависть к своим хозяевам, принимается в этом немногочисленном племени, как недостойный профессии. Все литейщики – «красные», за исключением Хейни. Он политикой не занимается. «Хейни – пустое место», – брюзжат рабочие. Но Хейни размахивает болванкой, держа ее между пальцев, как спичку, напрягает мышцы рук, выпячивает грудь, как барабан, в который бьют, призывая к бою. Он провозглашает и разъясняет – ничего, настанет час, он будет готов! Совершат что-либо, и он будет с ними, – но до тех пор пусть оставят его в покое, дадут жить спокойно. Сердце его не расположено к перекармливанию

словами, как перекармливают гусей на продажу. Дело надо делать, а не болтать!

Гейнц поворачивается к Хейни, стоящему у входа в цех и подставляющему лицо дождю. Его черная от дыма спина обращена к Гейнцу, как спина быка, ожидающего ноши.

– Если будет подписан договор с городскими газовыми предприятиями, – обращается Гейнц примиряющим тоном к руководителю работ, – нам придется увеличить выработку даже в этих условиях. Не настало еще подходящее время для большого ремонта.

– Если это так, господин, все же придется сделать некоторые исправления. В противном случае придется остановить работу одной из печей.

– На следующей неделе начнем срочный ремонт.

Инженер одобрительно кивает головой, как человек, с мнением которого согласились.

Хейни возвращается от ворот: прозвучал колокол, и пришла его очередь работать у печи. Опять проходит мимо хозяев, лишь слегка кивнув головой в их сторону – шаги его тяжелы, и болванка вертится между пальцами его руки. «Ненависть здесь вызревает, как змеиные яйца в темной пещере» – думает Гейнц.

У печей шипит железо, пузырится, поднимая густой пар. Как языческий идол в воскурении фимиама, стоит Хейни в красном свете. Гейнц вздыхает и выходит из литейного цеха. Во дворе шум усиливается. Горы кокса посверкивают, как

алмазы порока. Гейнц садится в автомобиль и едет в гараж, стоящий напротив конторы.

Эту контору тоже построил дед – на подобии особняка, украшенного в стиле ложного барокко.. В моде тех лет было украшать ворота, карнизы всех окон скульптурами девушек, ангелов, идолов. То же самое сделал дед. Все эти фигуры разбросаны по стенам, копоть, ветер и дождь почти стерли их лики. Перед конторой – небольшой сквер – деревья, грядки цветов, клумбы. Скамейки стоят вокруг каменной жабы, которая в дни деда испускала водяную струю в небо. Но в дни Первой мировой войны испортился механизм внутри жабы и до сих пор не исправлен, жаба сидит с раскрытой пастью и сухим горлом.

Гейнц поднимается по ступенькам, покрытым красным ковром. Множество стеклянных дверей ведет в комнаты. За дверьми сидят служащие. «Слишком их много», – думает Гейнц, с огорчением поглядывая на эти комнаты. Эти служащие – вечный предмет спора между Гейнцем и его отцом. Многих из них должны были давно уволить. Устаревшая система работы была дорогостоящей и малоэффективной. Большинство служащих работает здесь много лет. Они пришли на фабрику вместе с молодым господином Леви, отцом Гейнца, и он не желает их увольнять. Они были преданными советниками Гейнца, который, в общем-то, довольно молодым вынужден был взвалить на плечи это огромное и сложное предприятие. Они действительно много сделали

для фабрики, но теперь в них нет необходимости. Тяжелыми шагами поднимается Гейнц по ступенькам. «Я волоку за собой прошлое, подобно камням, привязанным к моим ногам. Я ничего не могу предпринять. Этому надо положить конец. Времена не располагают к сантиментам».

Гейнц открывает дверь своего кабинета. Из соседней комнаты возникает женщина в летах, секретарша, которая работала еще с отцом. Нечто материнское и доброе проступает в ее улыбке, когда она встречает своего шефа. Гейнцу претит эта материнская улыбка и этот мягкий голос. Он отдает в руке женщине свое пальто и шляпу, стаскивает с рук перчатки, и усаживается за письменный стол.

– Новости? – коротко спрашивает.

– Нет новостей.

– Доктор Ласкер не звонил по поводу городских газовых предприятий?

– Не звонил.

– Вы свободны.

Секретарша медленно закрывает за собой дверь, Гейнц встает и начинает расхаживать по кабинету. «Это дело с газовыми предприятиями переходит все границы! Фабрику ожидает большой объем работы: полное обновление оборудования газовых предприятий. Предложение было принято, договор составлен, но не подписан. Прошли недели, а дело не сдвинулось с места. Вышестоящие и нижестоящие чиновники задерживают его. И настоящая причина задержки в име-

ни. Ведь имя Леви написано на договоре. Гейнц передал этот договор Филиппу, юридически представляющему фабрику. Но и Филипп ничего не добился, ибо чем фамилия Ласкер лучше фамилии Леви? Надо передать дело юристу христианину. Если мы проиграем это дело, фабрика будет частично парализована. Передам это дело Функе, с которым познакомил меня Эмиль Рифке однажды вечером».

Функе был пьян, физиономия противная. Гейнц увидел перед собой маленькую головку и два голубых глаза. В один из них был воткнут монокль. «Леви?» – спросил господин Функе и сильно закашлялся. Гейнцу противно вспоминать господина Функе. Но иногда невозможно выбирать друзей по бизнесу, глядя на их физиономии. Порой именно такая физиономия может принести много пользы. «Вечером выйду его поискать». Гейнц вновь усаживается за письменный стол. Секретарша положила груду писем, прижав их большой мраморной пепельницей, на которой начертано золотыми буквами – «Живи и дай жить другим». Эта пепельница здесь еще со времен деда. Дед получил ее, как презент, на соревнованиях по стрельбе, и позолоченный девиз был в его вкусе. Гейнц кладет руку на пепельницу, и она расслабленно отдыхает на позолоченной надписи. «Сегодня подводят нервы», – думает Гейнц, – и это из-за Эдит. Беспокойство за фабрику привела беду в дом. Это беспокойство привело в дом Эмиля Рифке, и эта фабрика…»

Неожиданно его сотрясает нервный кашель. Тут же от-

крывается дверь, всовывается седая голова секретарши.

– Вам что-то нужно? – мягко спрашивает голос.

– Ничего не нужно, – в голосе Гейнца недовольная нотка, – попрошу мне не мешать.

Глаза сестры милосердия смотрят на Гейнца, и тут же седая голова исчезает. «Не могу выдержать всех этих стариков, все эти следы прошлого. Сижу в кресле, как посланец деда и отца, и ничего не могу сделать. Дед не покидает усадьбы и занят откармливанием на убой гусей. Отец погружен в свои мечтания, прикован к жизни высшего света, следует претензиям собственной головы. Ну, вот явился я? Прошлое огорчает, будущее тревожит. А сегодня… этот дождь стучит в стекла, и эта тьма посредине дня, убивающая любую светлую мысль. Если Филипп не позвонит по поводу газовых предприятий, то и делать мне сегодня здесь нечего. Могу вернуться домой».

Гейнц возвращается к столу, перебирает письма. Ничего важного. Вдруг – знакомый почерк. Письмо от Эрвина. Торопливо извлекает письмо из конверта. По спине пробегает дрожь: Эрвин сообщает, что у него родился сын. У Эрвина и Герды родился сын. С дружеским чувством, которое еще, оказывается, не выветрилось, Эрвин приглашает отпраздновать это знаменательное событие. Письмо дрожит в пальцах Гейнца «Много воды утекло в реке Шпрее со дня их последней встречи. Очень много воды». Гейнц смотрит на стекло окна, по которому стекают струи дождя, в целые облака до-

ждя, уносимые ветром. Мутные волны Шпрее встают перед его взором. И лицо юноши с взлохмаченным чубом, хохочущего от всей души. И дом на берегу Шпрее, дом Эрвина.

Рядом с рекой была мастерская отца Эрвина – слесарная и кузница. Он подковывал лошадей, чинил телеги. Широкоплечий мускулистый мужчина с простодушным бесхитростным лицом, что целыми днями напевает «Аллилуйя». Над его внешним видом пошучивали его клиенты: «Его вид, как гибрид элементов святого и свиного». Каждое второе предложение он начинал словами «мы, люди среднего класса…» и завершал – «Порядок должен быть порядок». Его плоскогрудую жену клиенты, приходящие в слесарную, называли за глаза «пумперникель» (был такой плоский хлеб, продаваемый в городе). При словах мужа она выпрямляла спину и качала головой в знак согласия. Кайзер, Бог и родина были железными основами его мировоззрения. В последнее время он добавлял еще один принцип: «Евреи – нарост на цветущем теле матери-Германии». Слесарная всегда была полна народа и шума. У хозяина ее, мастера Копена, были хорошие отношения со всеми клиентами, за исключением извозчиков, с которыми у него время от времени были словесные перепалки. Эти лизоблюды, у которых патлы всегда мокрые, смотрели на кузнечные меха, и заявляли, просто, чтобы рассердить:

– Тяжка жизнь в нашем государстве. Для тебя страна эта богата. А для нас – что конский навоз. А твой кайзер – пусть

целует, знаешь куда, мастер?

Мастер Копен открывает рот и отвечает:

– Мы, люди среднего класса…

Извозчики умирают от хохота.

– «Аллилуйя, мастер Копен!» – и уезжают.

– Порядок должен быть! – господин Копен кричит им вслед. – Порядок!

Единственного своего сына он послал учиться в школу высокого уровня, ибо это тоже входило в его принципы: сын среднего класса должен подниматься вверх.

В этой школе встретились Гейнц и Эрвин, и с первого дня стали верными друзьями.

– Не говори отцу, что имя твое – Леви, – сказал однажды Эрвин, пригласив друга к себе домой.

– А что будет, если скажу?

– Он тебе не даст больше приходить к нам. Он не уважает евреев.

Гейнц придумал себе какое-то имя и продолжал день за днем посещать Эрвина. Его влекла веселость друга и незнакомое ему окружение.

Они сидели у реки и наблюдали. Река была полна лодок. На них жили рыбацкие семьи. Женщины развешивали белье, готовили всякое варево, и острые запахи раздражали носы. Женщины то ругались, то пели хором. Мускулистые мужчины с татуировками (головки красивых девушек, сердца, пронзенные стрелами, черепа) на груди и руках, стояли

в лодках, жевали черный табак, и обволакивали всех густым дымом из курительных трубок. К вечеру появлялись белые прогулочные катера, и за гроши жители города уплывали на ночную прогулку по реке, оркестры сопровождали публику. Звуки вальса подхватывали сердца танцоров. Влекомые этим волшебством, заполняли люди прогулочные корабли и исчезали в далях.

– Я хочу быть журналистом, – сказал Гейнц, и мысли его уплывали вместе с кораблями, – поезжу по странам, буду причастен к событиям и всяческим авантюрам.

– А я буду врачом, – мечтал Эрвин, – это профессия постоянная и упорядоченная.

Они были детьми, когда грянула мировая война. Мастер Копен закрыл свою слесарную мастерскую, предварительно в ней все упаковать.

– Должен быть порядок! – благословил именем Бога сына и плоскогрудую жену, и с поднятой голову пошел на войну во имя кайзера и родины.

И господин Леви – долг есть долг – вышел на поле боя. Дед приехал из усадьбы – вести дела фабрики.

Мать Эрвина осталась одна, и становилась все более худой плоскогрудой. Все труднее было доставать продукты. Лицо ее становилось похожим на усохший изюм с хлеба «пумперникель». Эрвин выстаивал очереди с продуктовыми карточками в руках. В доме Леви гремел дед, дел было по горло. Фабрика работала днем и ночью, а с усадьбы привозили

продукты питания. С каждой победой войск кайзера, перед усадьбой поднимался черно-бело-красный флаг.

Гейнц продолжал посещать Эрвина. Сидели они на берегу реки. Эрвин пытался ловить рыбу для нужд своей семьи. Весь берег был усыпан жителями Берлина: детьми, стариками, женщинами, инвалидами войны, которые были специалистами по рыбной ловле. Много часов просиживали они у реки. Рядом друг с другом. И в солнечную погоду и дождь пользовались зонтиками. Фрице с деревянной ногой приходил сюда с шарманкой, развлекать рыболовов музыкой и зарабатывать на хлеб. Маленькая обезьянка в генеральском мундире, увешанном жестяными блестящими орденами, сидела на ящике шарманки. Хвост ее свисал из штанишек с золотыми лампасами, и она пританцовывала под мелодию песенки, что была любима жителями Берлина в те дни:

Воды Шпрее текут сквозь Берлин, не встречая преград.
Подними свой бокал, и тотчас прояснится твой взгляд.
Даже черт или дьявол вдруг на него нападет, —
Улыбнется берлинец, и дух его не падет.

Исчезли лодки с реки: они также были мобилизованы на войну. И женщины в траурных платьях рассказывали истории героизма мужей, сыновей, братьев, которые пали на войне. Одни плакали, другие советовали или получали советы, что и как готовить в эти трудные дни: «Человек должен жить…» Инвалиды войны плевали в воду: Бог, кайзер, ро-

дина! Пусть целуют… Понимающий поймет куда.

И мутные воды Шпрее продолжали течь через город, омывая его сердце.

– Жаль, – сказал Гейнц, – жаль, что мы не участвуем в войне. Очень хотелось бы воевать во имя Германии.

Эрвин был первым, кто сказал в полный голос:

– Война это катастрофа, черт ее побери!

И тут началась драка между друзьями. Гейнц набросился с кулаками во имя Германии и войны. В конце концов, Эрвин повалил Гейнца на землю. Затем помог ему подняться, отряхнул его одежду и упрямо стоял на своем:

– Война это катастрофа. Ты еще убедишься в этом.

Отец Эрвина вернулся с войны, украшенный медалью, но без одного глаза. Один глаз делал его лицо страшным – исчезло выражение «Аллилуйи». Мастерскую он больше не открывал. Деньги, которые он копил, обесценились в инфляции, извозчики тоже исчезли со двора. Слесарная стала складом тканей. На деревянной двери висело большое объявление «Торговый дом тканей. Авраам Коэн». А одноглазый мастер Копен пошел рабочим на фабрику. Язык его тоже изменился, теперь он не начинал речь фразой «мы – люди среднего класса». Теперь у него были в ходу два новых выражения, которыми он попеременно пользовался: «В старые добрые времена…» и «Евреи виноваты, только они». И в знак доказательства указывал на деревянную дверь в своем дворе. И только конец любой его речи не изменился: «Должен

быть порядок».

Господин Леви вернулся больным с войны, но бодрым духом.

– Хотя, – сказал, – Германия потерпела поражение, но выиграла вдвойне, получила урок на будущее, и больше войны не будет. Мы основали истинную демократию.

Дед, как обычно, смеялся. На усадьбу он не вернулся. С утра до вечера без устали занимался бизнесом. За гроши купил старое военное оборудование, снял площадку и собрал на ней горы ржавых касок, детали винтовок, вышедших из строя, старое обмундирование.

– Зачем это? – злился господин Леви. – Ты что, собираешься открыть бизнес на хламе?

– Согласен! – дед похлопал сына по плечу и почти с любовью сказал:

– В торговых делах ты ничего смыслишь. В душе народа и его лидеров – еще меньше. Положись на меня, еще будет нужда во всем этом. И то, что я сегодня купил за гроши, завтра продам как дорогой товар.

С окончанием войны Гейнц и Эрвин окончили школу и оба пошли учиться в Берлинский университет. Эрвин – на медицинский факультет. Гейнц – на факультет гуманитарный. Но делом этим так и не занялся.

В то время Берлин дышал полной грудью новой свободой.

Михель дурачок, мечтательный, тихий и медлительный немец, стал танцевать в быстром темпе, вращался на оси до

головокружения. Танцевал на одной ноге, без того, чтобы искать опору для второй ноги. Приличный и добрый Михель, чем все это завершится? Устанешь – найдешь покой обеим ногам и двинешься дальше взвешенно и разумно, уравновешенно и твердо? Или пьяный, качающийся, будешь бить окружающих, бить и топтать?

Михель, куда?

– Куда? – Спрашивает Фрида каждый вечер Гейнца, недовольная поведением молодого господина. Гейнц купил себе черный смокинг, белые перчатки, нашел себе подругу в одном из злачных мест города, и чувствует себя всесильным мужчиной.

– Куда? – спрашивает Эрвин. – Куда сегодня вечером?

Город переливается огнями, Гейнц знает все его тайны.

Берлин живет, Берлин насквозь просквожен развратом и наркотиками. В подвалах пляшут голые девицы. На чердаках спиритуалисты вызывают дух мужей и сыновей вдов, потерявших дорогих им мужчин на войне. Берлин занимается боксом, отгадыванием будущего, Берлин полон суеты, открывает театры, кинотеатры, небольшие сцены.

Куда?

Гейнц и Эрвин носятся по улицам города, охваченные безумным весельем.

В один из дней к ним присоединилась светловолосая с ясным взглядом девица по имени Герда, подружка Гейнца в дни учебы в университете. Девица странная, притягива-

ет сердца. Необычное сочетание противоположностей: отличная спортсменка и глубоко верующая, рьяная католичка. Упрямо вгрызается в науки. Собирает осколки идей, как курица, клюющая зерна, развлекает преподавателей и студентов своими взглядами, которые представляют смесь идей, но все же ясную и практичную, можно сказать, светлую, как ее глаза, смесь. Развлечения студентов ее не притягивали. Гейнц пытался ее соблазнить всякими хитростями, заманивая в погреба, где развлекалась молодежь, где мужчины дерзко пялили глаза на ее красивое лицо. Гейнц же, чтобы ее еще больше разозлить, заигрывал с девицами. Она краснела, и глаза ее просили помощи у Эрвина.

– Презираю тебя! – Бросала она в лицо Гейнцу и, сгорая от стыда, покидала место, и Эрвин бежал за ней, а Гейнц смеялся им вслед.

– Ты наивна, и это твой недостаток, – дразнил ее Гейнц и продолжал тянуться за ней. В один из дней предложил:

– Давай, будем друзьями, Герда.

Они пошли на лыжную прогулку. Когда они стояли на вершине горы, и зимнее солнце играло золотом ее волос, она внезапно сказала:

– Ты чужд моему духу, Гейнц, я не люблю людей, все высмеивающих.

– Романтичная девушка, – ответил он сердито, – твой дух сбивает тебя с толку.

После этого она не хотела с ним встречаться наедине. Че-

рез какое-то время исчез и Эрвин. Он перестал заниматься в университете, ибо не смог оплатить учебу, да душе его она опротивела. Эрвин стал рабочим. Герда еще продолжала некоторое время посещать университетские занятия. Однажды Гейнц заметил, что с ее шеи исчез маленький позолоченный крестик, и даже испугался. Что-то произошло в ее жизни. И действительно вскоре она исчезла, даже не попрощавшись. Гейнц смеялся им вслед заносчивым смехом и продолжал жить прежней жизнью. Обрел новых друзей и пытался забыть Эрвина и Герду. Пришла тяжелая, полная сюрпризов, зима. Богачи и крупные бизнесмены потеряли все и сошли вниз, а бедные, едва на ногах стоящие обрели богатства и поднялись вверх. Роскошные дома развлечений открывались вечером, и назавтра закрывались. Люди кутили напропалую, до потери сознания. Болезнь времени охватила всех. Болезнь времени! – это клише было у всех на губах, у всех, охваченных смятением, понимавших свою временность.

Вместе с безумным расточительством шагал голод, морозы и огромная безработица. По улицам шагали длинными рядами люди, с серыми лицами, и красные знамена в их руках пророчествовали страх и ужас. Участились покушения на лидеров. Гнев и злоба вздымались вулканической лавой. К этим демонстрациям присоединились Эрвин и Герда. Они сделали себя посланцами бедности, и выступали с уличных трибун против богатства, которое расцветало и бесчинство-

вало.

В доме Леви со страхом следили за поведением первенца. «Юноша страдает болезнью времени», с тревогой качал головой господин Леви. Времена катили наводнением, бурными водами обступая дом, но не могли свалить эту скалу, стоящую в тени каштанов. Лишь Гейнц пробивал расщелину в этой скале, внося вихри тех дней и дух буйствующего огромного города.

В конце концов, деду удалось поговорить с внуком.

– Эй, дорогой внук, – гремел дед, – мы желаем с вами побеседовать как мужчина с мужчиной. Чем ты занимаешься все ночи? Завел себе маленькую подружку?

– Я не обязан давать отчет о моих делах, – кричал Гейнц, – молодое поколение имеет право жить, как оно хочет.

– Слушай, парень, – отвечал дед, – я не люблю, когда мне подают тарелку супа без супа. Это выводит меня из себя. Говори по делу, чем ты занимаешься ночами?

И Гейнц рассказал деду все – о городе, о себе. Когда закончил, встал дед со своего места, покрутил усы, похлопал внука по плечу и сказал:

– Ничего страшного. Все в порядке. У каждого периода свои сумасшествия. Но философия? Не понимаю, зачем ты учишь философию?

– Почему бы нет. Человек должен понять жизнь.

– Уф! – Дыхание деда вдруг стало коротким. – Два философа у меня в семье, два моих продолжателя, два сына. Еще

одна такая беда, и я сойду в преисподнюю.

– Дед, ну, о чем ты говоришь?

– Что ты скажешь, Гейнц, о человеке, который выходит на улицу во время бури и там играет на скрипке? Не скажешь ли, что это дурак? Твой отец мог все время сидеть в стенах своего дома и музицировать на скрипке, сколько душе угодно. Дни были тогда спокойными и безмятежными, дорога была прямой и гладкой, и не было опасности, что он споткнется и упадет. Благодаря мне и моим деньгам. – Дед сделал паузу, сдерживая наплыв слов. – Теперь время иное, внук, старая моя голова кружится от всех этих слов и новостей, сыплющихся в воздухе. И не в высших сферах философии, а в мутной долине реального мира – синдикаты, картели, монополизация. Черт его знает, что. В общем, Гейнц, фабрика в опасности. Возможно, что мы не сможем ею управлять привычными доселе методами. Пока ты еще молод, переходи в высшую школу бизнеса и торговли, изучи все для общей нашей пользы, и я надеюсь, что польза от этого будет и для государства.

– Я не хочу быть торговцем, дед.

Лицо деда стало серьезным.

– Во имя существования семьи, дорогой мой.

Гейнц продолжал отрицательно качать головой.

– Уф! – Уронил дед, сделал безнадежный жест рукой, и сказал, почти с любовью. – Я верю в силу разума членов нашей семьи. Ведь ты кровь от моей крови.

И дед был прав. Когда умерла госпожа Леви, Гейнц внезапно посерьезнел, послушался совета деда и отца – записался в высшую школу бизнеса и торговли.

* * *

Много дней прошло с тех пор. Гейнц вглядывается в письмо Эрвина, смотрит в окно, за которым ветер в сером полусумраке гоняет пригоршни дождя. Снова встают перед его глазами волны Шпрее и радостное лицо Эрвина. Письмо дрожит в его руках. По стеклу окна дождь катит бесконечные струи. Гудки подают однотонные въедливые голоса. Гейнц очнулся от воспоминаний. Обеденный перерыв на фабрике. Во дворе усиливается движение. Из разных зданий, из боковых шоссе, текут потоки рабочих к центральному шоссе, сливаясь в огромную людскую реку. Дождь бьет им в спины, ветер вздувает пальто, походка их быстрая и решительная. Длиной очередью выходят литейщики из литейного цеха, среди них Хейни сын Огня, на плече его сумка с термосом, а в руке пустой деревянный сундучок. Хейни несет сундучок в гараж мимо окон Гейнца, садится на него, и прислоняется спиной к борту машины, открывает сумку, аккуратно достает из нее белую салфетку, расстилает на задымленных своих штанах. На салфетке Хейни раскладывает свой обед – большие ломти хлеба, соленый огурец и подходящую ему по размерам жестяную банку. Хейни начинает есть. Откусы-

вает хлеб, тяжело пережевывая его, так, что все мышцы лица участвуют в этом процессе. Между откусываниями, Хейни высоко поднимает банку и пьет большими глотками, переливающимися в горле. Хейни ест с большим аппетитом и душевной отдачей. Гейнц стоит у окна и смотрит на трапезу Хейни, словно является стражем его хлеба. Обедающий Хейни и его обед – дневное развлечение Гейнца. День за днем Хейни в один и тот же час приходит есть свой обед перед окном Гейнца. В жаркие дни он сидит на скамейке, около каменой жабы, а в дождливые дни – в гараже, около машины. Раздаются гудки. Тут же Гейнц возвращается к окну, взглянуть на обеденную процедуру литейщика Хейни.

Его заинтересовал этот огромный рабочий, большие руки которого обхватывают ломоть хлеба, и покрытый копотью рот жует его с большим наслаждением. Гейнц ощущал уколы в желудке и пустоту в голове при виде этого. Никогда он не видел человека, которой ест с такой страстью и удовольствием, и это вызывало у Гейнца скрытые боли какой-то странной зависти. Наконец он не выдержал и решил узнать имя этого рабочего. «Хейни сын Огня», – сказали ему. На фабрику пришел еще юношей, был подручным, но очень скоро выделился в работе. Он истинный мужик, силен, как бык. Владеет огнем и пламенем, как никто другой. «Из красных?» – спросил Гейнц. «Нет», – ответили, – политикой не занимается, партии его не интересуют. Хейни этот – «Пустое место». Однажды он не пришел на работу. Подошел Гейнц к

окну, а Хейни нет. Гейнцем овладело беспокойство, даже страх. Ведь Хейни и фабрика были повязаны, как копоть и огонь. Тут же побежал узнавать, в чем дело. «У него ребенок умер», – сказали. Хейни пошел его хоронить. На другой день Гейнц увидел его сидящим на скамье, с наслаждением пьющим и закусывающим. Послал за ним. Решил выразить соболезнование. Стоял Хейни посреди кабинета, и лицо его не было опустошенным от горя, а просто ничего не выражало. Крутил шапку в пальцах и на вопросы хозяина мямлил что-то непонятное. Не надо так сильно переживать… у него, слава Богу, еще дети. И еще, с Божьей помощью, будут. Гейнц спросил его, почему он предпочитает обедать за столом во дворе фабрики, а не присоединяется к коллегам на обед в фабричной столовой? Хейни забеспокоился, что хозяин запретит ему обедать во дворе, и стал еще сильнее мямлить, объясняя Гейнцу, что делает это из экономии. Живет он далеко, в самом центре города, жена его Тильда и он стремятся дойти до более высокого уровня жизни, а это сделать в наши дни нелегко. Гейнц спросил, какого Хейни возраста. Оказалось, родился в тот же месяц и год, что и Гейнц. С этого момента усилилась тяга Гейнца к этому рабочему. И, поглядывая на него через окно, вел с ними долгую немую беседу. И казалось ему, что это он сидит во дворе. «Хейни – пустое место», – бормотал Гейнц, – пустое, как и я. Мы одногодки, оба – пустые места. И этот немой диалог длился изо дня в день. Гейнц обращался к литейщику Хейни, словно к

собственной душе.

Сегодня Гейнц смотрит на Хейни сквозь завесу дождя. Ни дождь, ни ветер, не в силах помешать его трапезе. Обрушится мир, а Хейни не сдвинется, не шевельнется, – обеденный час – дело святое! Гейнц не отрывает от него взгляда, в руке у него дрожит письмо. «У Эрвина и Герды родился сын! А я остался без ничего». Пуст, пуст – стучит дождь. Хейни пуст и Гейнц пуст. Конечно же, я поздравлю Эрвина и Герду. Любопытно увидеть Герду матерью, а Эрвина – отцом. Помирюсь с ними, последняя наша встреча не была приятной. Много лет назад. Однажды я нашел имя Эрвина на одной из листовок. Он должен был выступить на собрании рабочих. Я пошел туда, все еще не мог забыть Герду, вычеркнуть ее из своего сердца. Шел я по незнакомым, долгим и чуждым мне улицам, вдоль бесконечных шеренг серых домов и тротуаров. Дошел до кинотеатра. Рабочие шли туда толпами со всех сторон. На стене висела реклама – фильм «Зависть»: усатый мужчина страстно целовал женщину. В зале кинотеатра выступал Эрвин. Я снял галстук и вошел. Зал был забит до отказа, может, и ты, Хейни там был? Ведь ты как я, пустое место, Я протолкнулся до первого ряда, стоял почти лицом к лицу с Эрвином. Он стоял на сцене, в кожаном коричневом пальто, штанах для верховой езды и черных сапогах. Стоял, как всадник без коня. Говорил с большим волнением. Где-то был убит рабочий. Я об этом не знал, в те дни я почти не читал газет. Речь Эрвина кружилась вокруг одного

предложения, к которому он все время возвращался – «Ужас шествует по улицам». Он выкрикивал эти слова, и кулаки его сжимались. Больше я ничего не слышал. Герда тоже была там. Я видел ее в профиль, и когда Эрвин сжимал кулаки, ее кулаки тоже сжимались. Это единство их откликалось во мне болью. Герда сильно изменилась, перестала быть добродетельной, как раньше. Я вспоминал позолоченный крестик у нее на шее. Я жаждал вернуть его на место, вернуть ее, жаждал до такой степени, что не мог успокоиться. Когда Эрвин завершил речь, я подошел к ним, что-то там говорил, оскорблял, насмехался над ними. Боль и страсть обострили мой язык. Пока Эрвин не протянул мне руку на прощание. Мол, расстанемся по-доброму и больше не встретимся, чтобы полностью не была уничтожена память нашей прекрасной юности. С тех пор я больше их не видел. С тех пор не мог вспомнить его имя без того, чтобы в ушах не звучали его слова – «Ужас шествует по улицам».

Гейнц прижимает лицо к оконному стеклу. «Я весь горю, как будто охватила меня лихорадка. У Эрвина и Герды родился сын в этом страшном мире, Эдит беззащитной вышла в этот мир. Фабрика борется за свое существование. Вокруг – ужас. И я предстал перед этим миром, как пустой сосуд. Пустое место, как мой Хейни, но без его зверского аппетита, без его мышц, без удовольствия, без ничего! Слышишь, Хейни? Я и ты – мы, тезки, оба Генрихи, оба – пустое место». В гараже Хейни закончил свою трапезу, аккуратно складывает

белую салфетку и возвращает в сумку, собирает крошки со штанов и швыряет их в рот. Подгибает под себя ноги, прижимает голову к борту машины, погружается в короткую дрему. Рот его раскрыт, огромные черные руки отдыхают на коленях. Гейнц стоит у окна, охраняя покойный сон Хейни. В кабинете стучат часы. Идет дождь, слабые звуки радио приходят из квартиры охранника. «Надо послушать сегодня новости. Ходят слухи, что правительство собирается передать важное сообщение».

Но Гейнц не подходит к радио, а все следит за Хейни, держа в руке письмо.

Ужас, ужас… кричал он тогда, словно хотел разбудить мертвых. Надо сохранить фабрику, увеличить ее, расширить. Ужас шествует по улицам. И только богатство дает безопасность. Вечером он пойдет на встречу с Функе. Встреча с ним должна предшествовать встрече с Эрвином и Гердой. Да, ужас… Быть может Эрвин пророк, не знающий, о чем пророчествует. Эмиль Рифке! Каприз Эдит еще спасет нас… Глупости! Не буду искать защиту под прикрытием ножей этих мясников. Дом мой еще существует, дом всех наших поколений. И дом этот существует благодаря фабрике. Если она замолкнет, замолкнет и дом. Бог мой! Я же обещал отцу быть к обеду. Нет, не вернусь домой. Не расположен я сейчас к серьезным разговорам. Позвоню, скажу, что занят. Пойду праздновать рождение сына у Герды. «Праздновать!» – Гейнц смеется. «Поеду к Марианне. Уважаемый отец, хо-

тел бы я видеть свет твоего лица, когда я подниму к тебе трубку и сообщу: отец, я еду к Марианне. Ее я купил за весомую цену. Она дорого продается, уважаемый отец. С тех пор, как ушла Герда, я знаюсь только с продажными женщинами. Сегодня вечером я выйду на покупку новых друзей. Они также дорого продаются. Но они обещали мне защиту фабрики и дома, а тебе – твой покой и верность твоим жизненным принципам».

* * *

Снова подают голос гудки. Закончился обеденный перерыв. Хейни первым пересекает двор в сторону литейного цеха. У входа он останавливается и обращает лицо к дождю, словно хочет получить благословение, прощаясь с дневным светом. Рабочие длинными шеренгами текут в ворота, возникают между домами. Литейщики исчезают в темном зеве литейного цеха. Фабрика возвращается к деятельности. И снова хаос, суматоха, беготня во дворе. Трубы выбрасывают клубы дыма, скрежещут краны, огромный молот гремит, вздымая кувалду. Гейнц остается у окна. Смотрит на лихорадку работ; нельзя, нельзя, чтоб все это замерло!

# Глава шестая

В общем-то, улица не привлекает внимания. Трамваи здесь не проходят. У больших автобусов здесь нет остановок. Улица боковая, дома обычные для большого города, высокие, серые, запыленные. В них живут рабочие, мелкие торговцы, народец, зарабатывающий на жизнь трудом своих рук, но с честью. И все же эта скромная улица известна по всему городу, да и по всей стране. Среди этих серых домов скрыто здание еврейской общины. В утренние часы на улице много шума и движения. Евреи собираются со всего города – из еврейского квартала и кварталов богачей, в дорогих и простых одеждах, молодые и старики, матери и отцы, бородатые с ермолками на головах, без головных уборов, бритые. Евреи с чемоданами в руках приезжают из маленьких городов. Толпятся в воротах серого дома, входя и выходя. Сидят на скамьях вдоль длинных коридоров. Беседуют друг с другом о бурных и мрачных событиях в их жизни. Эти скамьи объединяют многих и разных с их различными делами: проблемами религии, налогов, разводов и обручений, похорон и обрезаний, советами в поисках работы. Но в последнее время прибавились новые дела: судебные тяжбы по поводу оскорблений, незаконных увольнений с работы лишь по одной причине – еврейского происхождения, просьба совета в связи с обанкротившимся делом и заработками, ко-

торые уменьшаются день за днем. На столе Филиппа – горы папок с жалобами. После победы нацистов на выборах, страну буквально смял вал издевательств. В небольших городах Пруссии, окруженных крестьянскими селами, возбужденными подстрекательством, банды хулиганов сожгли синагоги маленьких беззащитных еврейских общин. Когда этих бесчинствующих молодчиков привлекали к суду, Филипп ездил, как обвинитель со стороны евреев.

Послезавтра ему предстоит такая поездка в один из прусских городов. Пока в стране еще существует закон и порядок! Филипп иронически улыбается и закрывает одну из папок. За окном – непрекращающийся упрямый дождь. Филипп не очень хочет ехать. «Справедливый приговор» постоянен. Пьяные хулиганы отделываются штрафом, и спесивый судья цедит слово «евреи», словно выплевывает ядовитую таблетку, дружески подмигивает вожакам хулиганов, сидящим на скамье подсудимых. А после суда… ты покидаешь судебный зал в сопровождении уважаемых членов общины, что «выиграли» тяжбу. Идешь с ними по улочкам этого городка. Из окон выглядывают с презрением враждебные лица, детки свистят и сопровождают вас ругательствами. Идешь по улицам, кривым от старости, и вдалеке вздымаются зубцы развалин стены и башни рыцарских времен Пруссии. В старом колодце шуршит ветер, словно рассказывает историю дней старины, когда этот колодец был отравлен евреями. И ты ощущаешь, с каким вниманием жители городка прислу-

шиваются к этому шороху. С тобой рядом шагают евреи, лица которых изрезаны и подавлены тревогой, ведут они тебя к сожженной синагоге, старому зданию, почерневшему от огня, такому же древнему, как старинные башни. Рядом с синагогой кривой покосившийся дом местного раввина. И снова ощущение, что ты остолбенел от страха, стиснут и зажат крыльями мыслей о будущем. Евреи рядом с тобой, «выигравшие» суд, простирают руки к обгорелым стенам.

– Погромщики вернутся. Они не будут наказаны. Это что, был суд? Надо бежать отсюда, пока еще есть время.

– Бежать? Куда? – спрашивают в изумлении. – Человек оставит свою страну, свою родину, могилы предков?

И ты говоришь: уезжайте в страну Израиля. Потрясение в их глазах. – Страна Израиля? Святая земля, легенда праотцев. Это – праздничная молитва. Страна Израиля это не реальность.

Ты указываешь на обгорелые стены синагоги, на башни, угрожающие издалека: «А это что? Далекое прошлое? Легенды праотцев? Часть молитв о прощении? Или это реальность из поколения в поколение? Спасайте свои жизни, пока это возможно. Евреи, спасайте свои жизни». Они тебя не понимают, и все повторяют, как испорченная пластинка: «Человек не бросает свою родину. Сейчас – дни кризиса. Они пройдут».

Так прошли у Филиппа несколько судов в городках, и таким образом завершились. Так было вчера-позавчера. Так

будет и послезавтра. Дождь за окном. Смотрит Филипп на порывы дождя и вздыхает. Белла рядом закрывает пишущую машинку.

Час поздний, последние посетители покинули офис. Уборщицы начали свою работу. Звуки сталкивающихся ведер и шорох метелок долетает в кабинет. Они остались единственными из множества сотрудников. Филипп слышит стук крышки пишущей машинки, откладывает папку и смотрит на Беллу. Руки ее остались на крышке, чего-то ожидают. Лицо ее необычно бледно. «Что-то у нее случилось», – думает Филипп. – «Из летнего лагеря она вернулась совсем другим человеком. Мы с ней и не встречались с тех дней. Она отказывалась прийти ко мне в дом, находила причины для отказа. Что с ней произошло?»

– Сегодня вечером, Белла, – говорит он, как можно мягче, – Тебе надо немного отдохнуть. Пошли ко мне. Давно мы не были вместе, и не вели, как раньше, доверительную беседу.

На улице стучит дождь, пальцы Беллы барабанят по крышке пишущей машинки.

– Сейчас, – говорит она, не глядя на Филиппа, – я хочу поговорить с тобой сейчас.

– Сейчас я тороплюсь, Белла, утром задержал меня Отто своей долгой беседой. Я обещал господину Леви прийти к нему в два часа на обед. До двух я должен там быть.

– Сегодня ты туда не поедешь, Филипп.

– Но Белла, что случилось с тобой? Я обязан ехать в дом Леви, что бы ни случилось. У меня есть срочные дела с господином Леви. Ему нужна моя помощь. Послезавтра я должен отлучиться на несколько дней. Будь умницей, Белла. Встретимся вечером.

– Сейчас! – отвечает Белла странным жестким голосом. – Я должна с тобой поговорить.

Лицо ее продолжает быть бледным, в глазах ее какая-то упрямая печаль. Филипп встает со своего места, приближается к ней, берет ее голову в ладони:

– Белла, что с тобой?

– Филипп, я…

Доктор Ласкер испуганно смотрит в ее бледное лицо. Возвращается к своему столу, звонит по телефону в дом Леви.

Улица длится бесконечно. Молчаливо идут по ней Филипп и Белла. Дождь продолжает хлестать. Филипп раскрывает зонтик. Белла прислушивается к шуму дождя, к темным каплям, падающим на ткань зонтика. Лицо Филиппа замкнуто. Она не искала прикрытия от дождя под его зонтиком. Струи дождя напрягают ее лицо и затрудняют дыхание. В карманах ее куртки руки прыгают, как две рыбы в сети. У господина Ласкера рядом, раскрывшего зонтик, руки в кожаных перчатках, черная шляпа, черное пальто, а девушка возле него – в одежде молодежного движения, с обнаженными коленями и непокрытой головой. Белла очень огорчена этой разницей в стилях одежды. «Неподходящая мы пара»

– никогда не возвращались эхом в ее сердце эти слова сейчас, на улице под бесконечным дождем. Слова эти звучат без конца рефреном в ее голове. Она идет рядом с Филиппом, в смятении, думая про себя: «Мелочи эти – зонтик, перчатки, шляпа – просто поглощают прямо перед моими глазами человека, и мне не удается спасти его настоящий образ».

И в такт дождю, стучащему по зонтику, рифмуется строка – «Неподходящая мы пара» – с пасмурным днем, с согнутыми фигурами людей, проносящихся мимо Беллы, со скорбью ее души, которая усиливается с каждым шагом. Наконец-то – небольшая столовая забита народом. Рабочие проводят здесь обеденный перерыв. Суетятся, жуют, говорят. Запахи пива, жареного на масле картофеля вызывают у Беллы позывы к рвоте. Молодая официантка скользит между столиками и наслаждается всеобщим вниманием, намеками и шутками в свой адрес.

Филипп погружен в изучение меню.

Официантка подает им по тарелке супа. Пятна жира плавают на его поверхности. Белла с трудом сдерживает тошноту.

– Ты почему не ешь, Белла?

– Я себя плохо чувствую.

– Ничего опасного нет. Так должно быть, маленькая моя Белла. В болях рождается новая жизнь. Только не пугайся, Белла.

Белла смотрит на дождь, превратившийся в ливень и

яростно барабанящий в стекла.

«В болях!» – впиваются в нее слова Филиппа.

Официантка приносит большие ломти мяса. На Беллу она вообще не обращает внимания, господина же обслуживает с великой преданностью. Белла встает, проходит между столиками, направляясь к зеркалу в коридоре, пугается, взглянув на себя. Мокрые волосы взлохмачены, бледное лицо с синими мешками под глазами. Проходит человек по коридору, бросает на нее удивленный взгляд, она возвращается к Филиппу.

Он улыбается ей, отодвигает в сторону тарелку и обращается к ней отеческим и в то же время деловым тоном.

– Ну, Белла, мы долгое время колебались. У каждого были свои сомнения. Маленькая моя Белла, ты так молода, и все же стань женой человека. Моей женой. Сделаем все возможное, чтобы жизнь наша была счастливой.

Белла молчит, глаза ее блуждают в пространстве столовой, ни на чем не задерживаясь.

Филипп гладит ей руки своими холодными руками. Белла испугана.

«Что это со мной? – снова упрекает она себя. – Ну, не виноват он, что холод проникает даже через перчатки. Но почему у него такой отеческий голос? Зачем все эти деловые разговоры? Почему он просто не говорит, что рад ребенку, который должен родиться, счастлив и уже любит его?»

Глаза ее движутся вслед официанткой, скачущей между

столами.

«Эта женщина со своим похотливым смехом, несомненно, опытна в поведении женщин. Была бы в моем положении, знала бы как одолеть мои страдания».

Беллу пробирает дрожь: впервые тверда в мыслях, словно уже приняла решение. Филипп смотрит на сжавшиеся ее брови.

«Тяжко ей. Еще не созрела брать на свои плечи такую тяжесть. Только большая любовь в силах помочь ей одолеть то, что ей предстоит. Смогу ли я дать ей такую любовь? Даже глубокая вина не уменьшает любовь, малышка Белла». Филипп вглядывается в бледное ее лицо. «У нее новое лицо. Она так томна в своей бледности. Бывают и черноволосые Мадонны. Мне надо сделать все возможное, чтобы она не ощутила колебания в моей душе.

– Белла, откуда эта печаль в твоем лице? Я понимаю, это поспешно, это неожиданно. Еще нет у тебя желания быть женой. Жизнь молодежного движения тебе ближе, и мечты твои охватывают пространства. Каждый молодой человек хочет взойти на Хрустальные горы. Но, детка моя, следует все же чувствовать твердую почву под ногами. Поверь мне, Белла, поверь, стать источником новой жизни, нового существа, это великое дело, очень великое дело.

Белла чувствует его взгляд, просящий ответа. Она видит его, попивающего черный кофе, человека, ищущего облегчения и хотя бы короткого покоя. Запахи душат ее. Смех, го-

лоса, жевание, глотание не дают ей раскрыть рта. Снова она обращает взгляд в окно, на влажную, пасмурную улицу.

«Стать источником новой жизни… Жизни! Знала бы, что заключено в этих словах. Тысячи скорбных минут, тысячи болей, тысячи пугающих снов, и все в этих нескольких таких легких словах. «Дать жизнь!» Преследуют меня эти два слова. Не предполагала, не просила, но они приходят со всех сторон, от каждого намека, детского смеха на улице, плача младенцев в домах. «Жизнь». Слово производит во мне свое действие, не отставая, не давая передохнуть».

– Белла?

Она снова почувствовала холод его руки. Волнение, которое она сдерживала в себе в течение многих недель, неотступные колебания наедине и на людях, сейчас вырвались наружу и сдавливали ее голос. Она смотрит на Филиппа скорбным взглядом, говорит слабым голосом:

– Правда в том, Филипп, нелегко мне об этом говорить, – ты отказался от правил молодежного движения. Так просто не меняют жизненный выбор. Филипп, одно дело абсолютно ясно, мой ребенок не родится в Германии. У меня одно твердое желание: мы должны начать готовиться к переезду в страну Израиля.

– Но, Белла, что за спешка? Будь разумной, детка. Мы не можем прямо сегодня или завтра запаковать багаж, и оставить все дела, как беглецы, спасающие свою жизнь.

– Другой будет выполнять твою работу, – прерывает его

Белла жестким голосом, – мой ребенок не будет рожден здесь. Филипп, пришел твой черед паковать вещи.

– Но, детка!

– Ты должен запаковать свои вещи, – Белла стоит на своем.

Филипп смущен, гладит ее руку.

– Ты нервничаешь, Белла, и это понятно. Но успокойся, Белла, успокойся. Я ведь не говорю, что мы будем вечно в Германии, не торопясь, завершим все наши дела, и уедем. Может, здесь все успокоится. Я не могу сейчас оставить Германию. Как на меня посмотрят люди, если я покину все в страхе, и буду заботиться лишь о себе?

– Нет, – кричит Белла, – сейчас! Сейчас время уезжать. Год за годом ты читаешь проповеди другим, доказывая, что следует оставить Германию, а сам откладываешь свой отъезд. Почему? Есть что-то, не дающее тебе решиться? Я всегда это чувствовала. Есть нечто, что стоит между нами, вне нас. Там, у озера, в тот летний день, я знала, чувствовала, что…

Белла неожиданно замолкает, Филипп не отпускает руку.

«Надо ей рассказать об Эдит. Она должна знать. Но мне стыдно признаться, что я столько лет беспомощно влекусь за этим чувством, приносящим мне боль, за этой иллюзией, за каким-то слабым жалким шансом победить факты и добиться жизни, в которой – любовь и счастье. И как она сможет понять, эта наивная девочка, что она моя жена, а страсть моя

обращена к другой женщине? Нет смысла открыться ей. Зачем и ее вовлекать в эту ловушку?»

– Белла, я подумаю, что можно сделать. Для меня это все неожиданно.

– Обещай мне, – говорит Белла, – обещай!

– Детка, я прошу тебя, – Филипп говорит решительно, – я не могу принять скороспелые решения.

Белла пугается этой решительности в его голосе. Филипп видит этот страх в ее скорбном взгляде, приближает свою голову к ее голове и говорит мягким успокаивающим голосом:

– Маленькая Белла, пойми, в мире – растить и воспитывать детей – высшая цель человека. Поверь мне, нет более великой цели, чем эта. Прошу тебя, не смешивай разные области, и нет разницы в том, где ребенок родится. После рождения надо будет взвесить наши шаги.

– Нет! – столь же решительно отвечает она, – нет! Мой ребенок не родится в Германии!

Филипп не успевает ответить, как с треском раскрывается дверь, двое рабочих, мокрых от дождя, взъерошенных от ветра, взволнованных, держат в руках газету, в нетерпении кричат официантке:

– Эй, включи сейчас же радио! Хотим услышать дневные новости! Объявили чрезвычайное положение. Правительство Брюннинга взяло на себя диктаторские полномочия, и наложило на нас тяжкие декреты.

Мгновенно челюсти прекратили жевать, все в напряжен-

ном молчании обступили радиоприемник. И Филипп смешался со слушающими.

– Внимание! Внимание! – гремит голос диктора. – Указы в связи с чрезвычайным положением. Диктаторские полномочия правительству.

Голос перечисляет параграф за параграфом. Все слушают. Никто не раскрывает рта. Диктор кончил. Началась суматоха. Филипп не вернулся к столу, исчез среди спорящих и жестикулирующих людей. Белла продолжала сидеть у стола. Нервно пила кофе. Вдруг повернулась. За ее спиной рабочие шумели в разгаре спора.

– Нет сомнения. Заработок наш сократят. Права на протест нас лишили. Если завтра объявят забастовку, будем бастовать.

– А о жене и детях ты не подумал?

– Мальчик, ты полагаешь, что обнимать жену ночью и гладить потомков и вообще младенцев – это все в этой жизни? Знай, в человеке есть идея, и она главнее всего.

Старый рабочий ворошит пальцами волосы на голове, как бы доказывая молодому товарищу этот простой и понятный факт: «Идея в человеке главнее всего!»

Белла следит за Филиппом, приближающимся к столу. Спокоен и уравновешен как всегда. Надевает пальто медленными движениями, застегивает перчатки на руках и тщательно закутывает шарфом шею.

– К приятным дням пришли, – говорит он бархатным го-

лосом, – полагаю, что будет еще хуже.

– Раз так, – с поспешностью говорит Бела, – надо готовиться к отъезду.

– Но, детка, – выговаривает ей Филипп, – ты не можешь отрешиться ни на минуту от этой мысли. Совершаются разные события, а ты все за свое.

Черные брови ее удивлено ползут вверх, она решительно вскакивает с места.

– Пошли, – говорит, – пошли.

Они выходят на улицу, Филипп снова раскрывает зонтик, но сильный ветер почти вырывает его из рук. Филипп закрывает его и, опираясь на зонтик, как на трость, берет Беллу под руку.

– Филипп, – шепчет Белла, – мир сошел с ума. Какой тяжелый день!

Белла чувствует руку Филиппа, прижимающуюся к ее руке, и наслаждается этой неожиданной нежностью. «Короткие мгновения счастья», – думает она. «Холод пробирает до костей, жажда тепла усиливается. Словно желание тоскливо завыть превратилось в мелодию, словно можно рассеять эту пасмурность. Кажется, навсегда прилипнет к моей душе скорбь этого дня».

Белла прижимается к Филиппу.

«Еще короткий миг счастья, всего лишь короткий миг».

Тем временем улица заполняется массой народа. Рабочие текут шеренгами. Небеса заложили черные тучи. Дождь хле-

щет отяжелевшими струями. Ветер забрасывает огромными пригоршнями воды идущих людей. Головы их вжаты в плечи, наклонены вперед в усилии – одолеть дождь, бьющий им в спины. В борьбе с ветром тяжелеют шаги на подъеме улицы. Белла освобождается от руки Филиппа и вливается в ритм шагающих и подгоняемых ветром людей. Голова ее, промытая дождем, также втянута в узкие ее плечи и наклонена вперед. Она движется вместе со всеми, и неожиданный подъем духа охватывает ее. Она чувствует себя посланницей какого-то скрытого порыва в этом огромном человеческом воинстве, идущем против ветра и бури. «Куда ты, Белла?» Я шагаю в марше, марше борцов. Вот, взметнулись кулаки, развевается флаг над головами. Один из массы выкрикивает: «Идея в человеке главнее всего!» «Всего! Всего!» – вторят массы, и Филипп среди них. – Вперед!»

Со всех сторон ее окружают шеренги людей. Тучи в небе угрожающе черны. Воды бурлят по склону, вливаясь в канализацию.

– Куда ты так спешишь? – В голосе Филиппа сердитые нотки. – Бежишь, как будто и тебе спешить на фабрику после обеденного перерыва.

Белла словно пробуждается и останавливается.

– Езжай домой, Белла, тебе тяжело идти в такой дождь. А я поеду к родственникам. Саул вернулся с каникул, а я его еще не видел. Я приду вечером к тебе в Дом «Халуцим».

– Нет, я вечером занята, Филипп. Завтра я не приду в

офис. Я себя плохо чувствую, мне надо отдохнуть.

– Хорошо, Белла, отдыхай. Увидимся послезавтра, когда я вернусь из поездки. И будь разумной, детка.

* * *

Станция метро беспрерывно проглатывает и выбрасывает массы людей. Молчаливо спускаются Белла и Филипп по ступенькам на перрон, забитый народом. У большинства в руках дневной выпуск газет с параграфами чрезвычайного положения. У других газеты торчат из подмышек, из карманов пальто. Филипп покупает газету в киоске на перроне, погружается в чтение и объясняет Белле эти параграфы. Она не слушает. Согнулась в своем балахоне, вся промокшая от дождя, кости ноют от холода. Думает – «Еще немного, я буду в Доме «Халуцим», мне следует принять решение. Сидеть дружно с товарищами в моем положении я больше не могу, просто не могу».

Слышен шум и лязг приближающегося поезда.

– Пока, Филипп.

– Пока, маленькая Белла, будь разумной.

– Буду.

Заталкиваемая людьми, Белла исчезает в вагоне, успев повернуть лицо в поисках Филиппа. В последнее мгновение замечает его, идущего к выходу, опирающегося на зонтик, читающего газету на ходу.

В вагоне жарко. Нет места на скамейках. А ехать ей долго, с восточного края города на западный его край. Белла пытается пробиться в угол вагона, прижимает голову к стене. Закрыв глаза, прислушивается к стуку колес.

«Через час я буду с Джульеттой, Рохеле, Нахманом, Ромео, никогда не смогу их оставить. Вместе росли в одном доме, в Еврейском квартале, вместе присоединились к Движению. Многолетняя дружба, юношеская радость, юношеские огорчения – все вместе, всегда вместе».

Вместе эмигрировали из Польши в годы инфляции. Детьми были на пороге зрелости, тринадцати-четырнадцатилетними подростками. Пристроились жить на еврейской улице, в домах, забитых эмигрантами. Во всех углах шатались дети. Женщины всегда стояли в открытых дверях, болтали, кричали, нередко плакали. Всегда в стенах дома слышался стук тарелок и ругань. И в этой суматохе слышался голос Йоселе, напевающего себе под нос:

Красотка Эти,
Оставь свои речи,
Лети в карете
Мессии навстречу.

Так Йоселе успокаивал свою маленькую сестренку, раскачивая ее в колыбели. Белла покидала свое логово, нищая из нищих, присоединялась к Йоселе, помогая укачивать ребенка. Из коридора возникала Зельда-Тхия, помешанная те-

тя Рохеле. Обычно она суетилась на ступенях и благословляла детей, прикладывая руку к их головкам и бормоча молитвы, в которых можно было разобрать лишь слова на иврите – «Ихье» (Да будет…) и «Тхия» (Восстание из мертвых…). Зельда любила напевы. При этом глаза ее расширялись и блестели какой-то высшей радостью. Голос Йоселе притягивал ее в их комнату. Молча стояла, глаза ее блестели. Когда песенка кончалась, гладила Йоселе, Беллу, ребенка по головам.

Йоселе и Белла были большими друзьями. Йоселе был первым в компании по изучению немецкого языка. Он собирал и организовывал молодежь, шатающуюся на улицах. Вместе с ним Белла ходила по переулкам, знакомясь с окружением еврейского квартала. Ходили к «Колоколу», так называлась знаменитая в этих переулках забегаловка. На вывеске было написано большими буквами – «У нас отличное обслуживание». Тут Йоселе продавал пустые бутылки, которые вся компания сообща собирала. Рядом со столовой стоял огромный запущенный дом, двери его были широко раскрыты в сторону улицы. Облупившийся темный коридор готов был поглотить любого, входящего в него. На пороге дома сидели всегда старики и старухи, громко злословили по поводу любого, входящего и выходящего из забегаловки и не замолкали, пока не выходил хозяин забегаловки и не давал им остатки еды. Двор всегда был полон пьяниц, которых выволакивали из забегаловки через заднюю дверь. К стеклам кухонных окон, выходящих во двор, как мухи на сахарных

крошках, прилипала носами малышня. А перед забегаловкой выстраивались евреи с тележками розничной торговли, и голоса их нараспев расхваливали свои товары. Продавали овощи, рыбу, старую одежду, и все то, на что набрасывались жители переулков. И всегда они были окружены шляющейся шантрапой, бездельниками и шлюхами, мало покупающими, но ужасно любопытными. Отец Йоселе тоже стоял там и продавал ношеную одежду. Рядом с ним мелкая торговка, мать Рохеле, на все лады расхваливала рыбу со своего лотка.

Каждый день к забегаловке наведывались посланцы «войска Христова» в синих своих мундирах, с золотыми пуговицами и красными погонами, как настоящие солдаты. Один из них держал мандолину, украшенную цветными лентами, и все они вздымали очи к небу и пели под аккомпанемент мандолины:

Приходите к нам, стар и млад,
Вас Иисус ожидает у врат,
Он простит вам любой ваш грех,
Он из ада спасет вас всех.

И один из них возвышает дрожащий голос и говорит проповедь об Иисусе беднякам и отверженным. Иисусе! Иисусе! Старики и старухи на пороге дома замолкают и в большом волнении расчесывают свои головы и ноги. Официантки, весьма легко одетые, выскакивают из забегаловки. Слушая проповедника, громко шмыгают, вытирая платочками

носы. Прохожие бездельники отвешивают увесистые плевки словам Бога живого. Открываются окна, явно неверующие физиономии обретают праздничное выражение. Весь переулок погружен в страх Божий. Иисусе! Иисусе!

– Гойское удовольствие, – шепчут евреи, замерев у своих тележек. А Йоселе прячется за спиной Беллы, достает расческу, в зубцы которой вставлены кусочки бумаги, и мелодичным постаныванием на таком «музыкальном инструменте» сопровождает проповедь и шествие войска Христова. Затем хватает Беллу за руку, и вместе они убегают.

В вечерние часы переулки были полны народа, а еврейская улица пряталась молчаливо, как нечто второстепенное, незаметное. Тогда Йоселе скреб свой лохматый чуб у входа в дом Беллы и подмигивал ей:

– Пойдем?

– Пойдем.

На улице их ждал отец Йоселе, высокий еврей с ухоженным лицом и двумя большими блестящими глазами – глазами провидца. Шли они в один из кинотеатров, расположенных в переулках. Кинотеатры работали круглые сутки. Отец Йоселе стоял у входа с небольшим пакетом в руках и шептал избранным проходящим:

– Кокаин!

Йоселе и Белла стояли на страже, и при появлении полицейского Йоселе начинал насвистывать песенку о красивых ногах Валенсии. После завершения «дела» возвращались до-

мой. Отец посредине, руки его на плечах детей. И он как бы извинялся:

– Что делать? Человек должен жить, таково начало мудрости. Зарабатывать и давать заработать другим.

Глубокую дружбу ощущали они в эти минуты, дружбу, объединяющую их троих, тайну которую они знали с детства. Переулки учили их жизни.

– Та вот, рыжая, – объяснял Йоселе, – работает для нашего Оскара. Оскар был единственный не еврей в доме. Он был посредником между дерущимися женщинами. По субботам он переходил из квартиры в квартиру и зажигал плиты. За это каждая хозяйка давала ему рюмку водки и ломоть халы, от чего он становился навеселе. Оскар был щеголем. Свои брюки желтого цвета он отдавал в глажку одной из женщин и строго приказывал ей, чтобы стрелка на брюках была прямой и отчетливо видной. Женщины выполняли его указания. Он разгуливал по коридорам в деревянных сандалиях, постукивая ими по ступенькам. Белла его ужасно боялась. Однажды он поймал ее в темном коридоре, сжал ее плечи и зашептал: «Какие женщины у этих евреев…» Испуганная, плачущая, Белла прибежала к Йоселе. Он тут же собрал всю компанию подростков, ребят и девочек, посекретничали и решили отомстить Оскару. Так была основана «молодежная организация Анти-Оскар». План мести был забыт до следующего утра. У организации были и другие дела. Обычно, по традиции, члены организации собирались под старым увяд-

шим орехом во дворе, единственным деревом, ветви которого стучали в оконное стекло домика. В нем обитал брачный посредник Самуил, который день-деньской крутился по домику и во весь голос изливал свои жалобы:

– Ай, евреи, ай, ай! Кончилось сватовство в Израиле. Отменили его, и нет в нем больше нужды. Молодые забрали мой хлеб и заработок. Не нуждаются ни в сватовстве, ни в венчании, ни в освящении. Ай, ашкеназ, ашкеназ, большая беда и разлом поразили тебя. Ой, беда эта разрушает отчие дома.

Женщины в доме, матери, сыновья и дочери которых достигли зрелости, качают головами вместе с Самуилом, вздыхают в знак согласия и пускают слезу. Все заботы Самуила сходились на этом темном домике. Целыми днями, с утра до вечера, он ходил с метлой, завершая свою уборку к ночи. Ночью же он, разговевшись, садился за стол, водружал на нос очки, доставал толстую тетрадь и записывал в нее имена юношей и девушек, брачного возраста, их родословные, и сватал их на бумаге. Карандаш так и бегал по листам.

Йоселе взбирается на дерево, ревет медведем, мяукает котом, чаще всего безрезультатно. Самуил погружен в свои расчеты. Расчеты же Йоселе потерпели провал. Тогда он организует хор:

Хоть дела, человече, твои лихи,
Всевышний простит тебе грехи,

Семя твое сохранит в вечеру,
Деньги развеет твои по ветру,
Словно звезды с небес поутру.

Тут Самуил открывает окно и, сотрясаясь от гнева, кричит:

– Ересь! Ересь!

Ватага смеется и исчезает.

По вечерам евреи толпятся в коридоре и без конца полощут рты деловыми разборками, испытывая страх за завтрашний день, который ничего хорошего не сулит. Женщины вносят свой вклад, визжа на детей, дерущихся на ступеньках.

– Что с нами будет, Владыко мира?

Иные мужчины пожимают плечами и возвращаются к своим делам. Оскар нагло хохочет и насвистывает субботние мелодии, чтобы злить окружающих евреев, которые опускают головы:

– Господи, Боже, священные песнопения позорит этот хулиган и безбожник! Что с нами будет?

– Что с нами будет? – вторит компания «Анти-Оскар».

Ранним субботним утром высаживались на скамье, занимались болтовней. Безработные резались в карты. Отто отмывал банки и своими репликами сердил домохозяек. Выходила на прогулку Эльза, девица, мгновенно напрягающая взгляды мужчин. На ветвях липы сорят и ссорятся воробьи. Иногда приходил Филипп, присоединялся к детям. Тогда он

еще жил у сестры, учился на юридическом факультете Берлинского университета.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.